ВАСИЛИЙ

ШУКШИН

Калина красная



РУССКАЯ КЛАССИКА

Калина красная
Василий Макарович Шукшин

Аннотация
Шукшин Василий. Калина красная
Привет Сивому!
Чужие
Живет такой парень
Позови меня в даль светлую...
Печки-лавочки
Калина красная

Аннотация

Вашему вниманию предлагается сборник рассказов и повестей Василия Шушкина.

Шукшин Василий. Калина красная

Привет Сивому!

Эта история о том, как Михаил Александрович Егоров, кандидат наук, длинный, сосредоточенный очкарик, чуть не женился.

Была девушка… женщина, которая медленно, ласково называла его — Мишель. Очкарика слегка коробило, что он Мишель, он был русский умный человек, поэтому вся эта… весь этот звякающий чужой набор — «Мишель», «Базиль», «Андж» — все это его смущало, стыдно было, но он решил, что он потом, позже, подправит свою подругу, она станет проще. Пока он терпел и «Мишеля», и многое другое. Ему было хорошо с подругой, легко. Ее звали Катя, но тоже черт возьми — Кэт. Мишель познакомился с Кэт у одних малознакомых людей. Что-то такое там отмечалось, день рождения, что ли, была Кэт. Мишель чуть хватил лишнего, осмелел, как-то само собой получилось, что он проводил Кэт домой, вошел с ней вместе, и они весело хихикали и болтали до утра в ее маленькой милой квартирке. Мишеля приятно удивило, что она умная женщина, остроумная, смелая… Хотя опять же — эта нарочно

замедленная речь, вялость, чрезмерная томность… Не то что это очень уж глупо, но зачем? Кандидат, грешным делом, подумал, что Кэт хочет ему понравиться, и даже в душе погордился собой. Хочет казаться очень современной, интересной… Дурочка, думал Мишель, шагая утром домой, в этом ли современность! Кандидат нес в груди крепкое чувство уверенности и свободы, редкое и дорогое чувство. Жизнь его обрела вдруг важный новый смысл. «Я постепенно открою ей простую и вечную истину: интересно то, что естественно. Чего бы это ни стоило — открою!» — думал кандидат.

Дальше — больше: Мишель все ходил и ходил к Кэт, изредка начинал говорить, что не вся же литература — «Аэропорт»! Кэт тихо, медленно смеялась, они ласкались… Мишель погружался в некий зыбкий, медленный, беззаботный мир, и его уже меньше тревожило, что все время — музыка и музыка, беспрерывно, одинаково; что свет — где-то под ногами, что по-прежнему вялые жесты Кэт, медленные слова… Он их не слушал. Он решил, что, пожалуй, стоит маленько расслабиться. Все потом войдет в свои берега. Есть в природе весна, есть разливы… Мы потом славно все наладим: она неглупа, она поймет, что

не вся литература — «Аэропорт», да даже дело не в том: пусть «Аэропорт», но пусть рядом будут реальные измерения вещей: например, прожит день, оглянулся — что-то сделано, такой сокровенный праздник души, не знать хоть иногда праздника — величайшая бедность. Конечно, конечно, думал Мишель, переливая в руках мягкие струи душистых волос Кэт, конечно, она знает в совершенстве искусство нежности, ласки, но мы прибавим к этому нечто трезвое, деловое. Мы обретем!

— Катя, — говорит Мишель, — что, если мы… у меня скоро отпуск, махнем-ка мы в Сибирь. На Алтай. Возьмем рюкзаки — и пешком. Там очень развита народная медицина, я бы хотел подсобрать материал…

— Найн, — нарочно сердила его Кэт чужими словами и смеялась. — Но-о, Мишель.

А смеялась она обворожительно, медленно, тихо, обещающе, зазывно… ну, черт знает как двусмысленно. Мишель бросался ее целовать, а Кэт слабо отбивалась и говорила:

— Ну, хватит, Мишель, хватит…

«А здоровый я мужчина!» — думал про себя Мишель. Ему было хорошо.

Так продолжалось с месяц.

И как-то Мишель пришел к ней опять вечером. Пришел… и оторопел: на диване, где он вчера еще вольно полулежал, весьма тоже вольно полулежал здоровый бугай в немыслимой рубашке, сытый, даже какой-то светлый от сытости.

— Здравствуйте, — сказал Мишель. Он постарался сказать спокойно, но сердце у него заболело. А дальше он и вовсе ошалел: Кэт была в халатике, он сразу этого не заметил. Но ведь это при нем она ходила в халатике, почему же еще при ком-то? Что это?

Бугай в цветастой рубашке сел на диване и несколько насмешливо, несколько снисходительно смотрел на длинного опрятного кандидата.

— Знакомьтесь, — спокойно, медленно сказала Кэт, — Серж, я тебе говорила…

Серж кивнул.

Мишель продолжал нелепо стоять: он не знал, как ему быть. Потом он сел.

В комнате было накурено, но не душно, а как-то сладко-приторно: звучала тихая музыка. Кандидат чувствовал себя очень скверно… Он встал и подошел к Сержу.

— Михаил Александрович, — представился он. И протянул руку. «Может, это ее родственник?» — подумал он.

Серж снисходительно подал свою руку. И кивнул снисходительно… Кандидату вовсе стало нехорошо: какой родственник! Родственники не смотрят так насмешливо, так снисходительно, это сидел наглый соперник. Кандидат опять сел.

— Кофе? — как ни в чем не бывало спросила Кэт; она была мила и спокойна. — Коньяк?

— Что вы предпочитаете? — тоже спокойно, медленно спросил бугай в тропической рубашке; как-то умели они так говорить — вяло, медленно у них получалось.

«Как в лучших домах Лондона», — пришло на ум кандидату, он то и дело где-нибудь слышал эту до омерзения глупую фразу, а теперь сам почему-то вспомнил. Он обозлился на себя за это. И за то еще обозлился, что растерялся. И за то еще, что не может никак обрести верный тон в этой ситуации. В таком идиотском положении он еще не бывал.

— Коньяк, пожалуй, — неожиданно тоже медленно сказал кандидат, но в его медленности явно зазвучала ирония; кандидат воспрянул духом: кажется, найден верный тон, единственно возможный. — А вы?

— Да, пожалуй, — медленно сказал бугай, не услышав чужой иронии. Кэт услышала иронию и

внимательно посмотрела на Мишеля… непонятно усмехнулась.

— Серж, в холодильнике, — сказала она.

Серж встал и медленно пошел на кухню.

— В чем дело? — спросил кандидат, когда Серж вышел.

Сердце его так забилось, так горько и обидно стало, что голос его дрогнул, ирония исчезла.

— Что? — Кэт стряхнула пепел с сигареты «Кент» в пепельницу. — О чем ты?

— Кто это?

— Знакомый…

— Как знакомый?

— Близко.

— Но… Не понимаю! — загорячился кандидат. — Что значит «близко»?

Кэт медленно засмеялась… В эту минуту кандидату захотелось подойти и влепить ей пощечину. Вошел Серж с коньяком и еще с какой-то бутылкой.

— Я нашел там виски, — сказал он. — Я, пожалуй, займусь виски. У тебя есть содовая?

— Там же, внизу.

Серж поставил бутылки и опять медленно отбыл на кухню.

— В чем дело? — совсем зло спросил канди-

дат. — Кто это?

— Мой старый знакомый, я же сказала. Друг, если угодно. А что?

— Не понимаю… — кандидат опять потерялся, и было очень больно. — У нас, кажется, были не те отношения…

— Тебе было плохо со мной?

— Но я считал, что… Не понимаю! Ничего не понимаю!

— Ты считал, что ты единственный и неповторимый?

— Значит, между нами все? — очень глупо спросил кандидат. И сам опять обозлился на свою глупость.

— Почему? — спросила Кэт. — Ты можешь приходить…

— По графику, что ли?

— Не надо хамить, — устало и медленно сказала Кэт.

«Не уйду! — решил кандидат. — Что будет, то и будь. Я вам покажу… Сан-Франциско!»

Вошел Серж с содовой. У него были покатые мощные плечи и обширная грудь.

— Вам коньяк или виски? — спросил он вежливо и снисходительно; он чувствовал себя в этой квартирке вполне хозяином.

«Чего же он-то не обижается, что еще вчера хозяином тут был я? — изумлялся кандидат. — Это ж надо так войти в роль… сверхсовременных людей. Или это уж скотство какое-то».

— Мне бы водки, — сказал кандидат; он с отчаяния пошел на рискованный шаг: решил выпить хорошенько и, может быть, сказать этим «джентльменам» всю правду о них. Но он мало пил, совсем почти не пил, и скоро пьянел. Однако нарочно потребовал водки — в этом был некий вызов, и это его устраивало. — Есть в этом доме водка?

— Есть? — спросил Серж хозяйку. При этом не скрыл снисходительной усмешки.

— Нет, — кратко сказала Кэт.

— Ну, тогда виски, — сказал кандидат. — С содовой, — он тоже пристроился играть «джентльмена», и Кэт, он видел, поняла это, а Серж не понимал пока, думал, что кандидат пыжится за ними и делает это плохо, поэтому он становился все более вежливым с Мишелем, все более ироничным и снисходительным.

— Как съездили? — спросила Кэт Сержа. Развернула цветную бумажку, взяла что-то в рот и стала жевать. И дальше она все время жевала, даже когда говорила. Жевала тоже медленно. —

Интересно было?

— Было недурно.

— Кто был?

— Были Алка с Владиком, Радик… Еще двое, ты их не знаешь.

— Радик один был?

— Один. Было недурно. Погода несколько портила пейзаж…

— Почему Радик был один?

— Ты же знаешь Радика! Настроение — побыть одному. Вообще недурно было, — говоря это, Серж налил в три хрустальные рюмки; себе и Кэт умело брызнул из сифона содовой, кандидату пододвинул сифон, чтобы тот сам разбавил себе, как найдет нужным. Кандидат принципиально не стал разбавлять.

Кэт чуть отпила и опять закурила. Серж выпил половину, закурил тоже и откинулся на спинку стула, и даже стул наклонил назад. Кандидат шарахнул всю рюмку и крякнул.

Кэт и Серж продолжали беседовать.

— Что делали? — спросила Кэт.

— Ну, сама знаешь… В пасмурную погоду дулись в преферанс. Кстати, — оживился Серж, — потом, знаешь, кто приехал? Сивый!

— Да?

— Подкатывает мотор, смотрим — вылезает Сивый. В пылище!.. Выволакивает из багажника ящик шампанского… «Закуска — ваша!» — орет.

— Сивый один был? — спросил кандидат.

На него удивленно посмотрели.

— Сивый был один, — сказал Серж, несколько озадаченный.

— Что это он? — удивился кандидат Мишель. — Сдурел, что ли, один ездит.

— Вы знаете Сивого? — заинтересовался Серж.

— Ну, мерин такой… сероватый, срыжа.

— Не надо хамить, Мишель, — медленно, без всякой, впрочем, тревоги сказала Кэт.

Серж пристально посмотрел на Мишеля.

— Еще, что ли, врежем? — спросил Мишель. И взял бутылку с виски, взял другую рюмку, побольше, набухал полную. — Ну, со знакомством? — подержал рюмку, ожидая, не присоединятся ли к нему… К нему не присоединились, Мишель выпил один. — Кхух!.. — выдохнул он. — Обожаю виски. У вас «Кент»? Позвольте?..

Серж пододвинул ему пачку.

— Не фонтан сигареты, да? — сказал Мишель, неумело закуривая, — он не курил.

— У вас есть что-нибудь лучше? — спросил Серж.

— «Мальборо», дома оставил, — изо всех сил медленно и лениво сказал кандидат. Он тоже откинулся назад со стулом и стал рискованно покачиваться. — На электрооргане. Вышел уже и хватился: где же у меня «Мальборо»-то? Потом вспомнил: играл на электрооргане и там, наверно, оставил. Ну, думаю, у Кэт кто-нибудь будет, я стрельну. У вас есть электроорган? — спросил он Сержа.

— Нет, у меня есть балалайка.

— Фи-и… и вы на ней играете?

— Да, я на ней играю.

— И как на это смотрит Сивый?

— Сивый… Слушает и плачет.

— И Радик плачет? Что же вы такое играете, что они плачут?

— «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан».

— Прекрасная мелодия… Чего же тут плакать? Хотя… понятно: кадры. Вообще, как сейчас обстоят дела с кадрами? По-моему, неплохо? Как Сивый на этот счет думает?

Кэт перестала жевать и с интересом смотрела на Мишеля.

Серж в упор разглядывал сухопарого кандидата… Не знал, как все это понимать.

Кандидат катастрофически пьянел. Злое мстительное чувство ослабло, ему стало весело, просто смешно.

— Ну-с, как Сивый думает о проблеме кадров? — опять спросил он Сержа.

— Сивый? — переспросил Серж. И в голосе его зазвучала угрожающая нотка. — Сивый думает, что за…

— Серж! — сказала Кэт.

— А призы Сивый берет? — продолжал расспрашивать кандидат.

— Берет. Хотите, я вам покажу парочку его призов?

— А когда же он думает? — не унимался кандидат. — Во время рысистых испытаний?

Серж требовательно посмотрел на Кэт: он больше не мог терпеть.

— Мишель, не надо хамить, — нормально, не лениво, сказала Кэт.

— А кто хамит? — удивился Мишель. — Мы просто беседуем. Скажите, пожалуйста, много было народу?

Серж молчал.

— Вы не заметили, Вороной был там или нет? Кстати, как Сивый чувствует себя в самолете? Не ржет от удовольствия? А то я с Вороным летал

однажды, он как заржет!..

— Ну, хватит, — решительно сказал Серж. И встал. — Сейчас ты у меня заржешь… — и схватил кандидата короткой сильной рукой, и поволок к выходу.

— Серж, не очень там, — сказала Кэт.

Очки у кандидата слетели, хрустнули под ногами… Он хотел оглянуться на Кэт, но не успел — вылетел в коридор. За ним вышел Серж и ударил его в челюсть. Кандидат стукнулся головой об стенку, но — странно — не ощутил боли. Серж еще раз ударил его, на этот раз по зубам… И теперь больно не стало, только стало солоно во рту и тесно.

«Как же ты жесток!.. — с омерзением подумал беспомощный человек, смутно видя перед собой того, кто бил. — Как ты гадок».

— Еще? — спросил Серж.

— Давай, — сказал кандидат.

Еще некоторое время смутно маячила перед ним квадратная туша Сержа; потом она исчезла… Послышались удаляющиеся шаги.

— Привет Сивому! — сказал кандидат.

Шаги остановились… С полминуты, наверно лестница молчала в пустоте, потом открылась дверь и закрылась; щелкнул замок.

Кандидат достал платок, вытер окровавленный рот и стал ощупью спускаться вниз по лестнице. Странное у него было чувство: и горько было, и гадко, и в то же время он с облегчением думал, что теперь не надо сюда приходить. То, что оставалось там, за спиной, — ласки Кэт, сегодняшнее унижение — это как больница, было опасно, был бред, а теперь — скорей отсюда и не оглядываться.

«О-о! — подумал о себе кандидат Михаил Александрович. — Ну как, Мишель?»

Copyright (c) 2001 Электронная библиотека Алексея Снежинского

Чужие

Попалась мне на глаза книжка, в ней рассказывается о царе Николае Втором и его родственниках.

Книжка довольно сердитая, но, по-моему, справедливая. Вот что я сделаю: я сделаю из нее довольно большую выписку, а потом объясню, зачем мне это нужно. Речь идет о дяде царя, великом князе Алексее.

"Алексей с детства был назначен отцом своим, императором Александром Вторым, к службе по флоту и записан в морское училище. Но в классы он не ходил, а путался по разным театрикам и трактирчикам, в веселой компании французских актрис и танцовщиц. Одна из них, по фамилии Мокур, совсем его замотала.

— Не посоветуешь ли ты, — спрашивал Александр Второй военного министра Милютина, — как заставить Алексея, чтобы посещал уроки в училище?

Милютин отвечал:

— Единственное средство, Ваше Величество: назначьте учителем госпожу Мокур. Тогда вели-

кого князя из училища и не вызвать.

Такого-то ученого моряка император Александр Третий, родной брат его, не побоялся назначить генерал-адмиралом — главою и хозяином русского флота.

Постройка броненосцев и портов — золотое дно для всякого нечестного человека, охочего погреть руки около народного имущества. Генерал-адмирал Алексей, вечно нуждаясь в деньгах на игру и женщин, двадцать лет преобразовывал русский флот. Бессовестно грабил казну сам. Не меньше грабили его любовницы и сводники, поставляющие ему любовниц.

Сам Алексей ничего не смыслил в морском деле и совершенно не занимался своим ведомством. Пример его как начальника шел по флоту сверху вниз. Воровство и невежество офицеров росли с каждым годом, оставаясь совершенно безнаказанными. Жизнь матросов сделалась невыносимою. Начальство обкрадывало их во всем: в пайке, в чарке, обмундировке. А чтобы матросы не вздумали против поголовного грабежа бунтовать, офицерство запугивало их жестокими наказаниями и грубым обращением. И продолжалось это безобразие ни много ни мало — двадцать лет с лишком.

Ни один подряд по морскому ведомству не проходил без того, чтобы Алексей с бабами своими не отщипнул (я бы тут сказал — не хапнул. — В. Ш.) половину, а то и больше. Когда вспыхнула японская война, русское правительство думало прикупить несколько броненосцев у республики Чили. Чилийские броненосцы пришли в Европу и стали у итальянского города Генуи. Здесь их осмотрели русские моряки. Такие броненосцы нашему флоту и не снились. Запросили за них чилийцы дешево: почти свою цену. И что же? Из-за дешевизны и разошлось дело. Русский уполномоченный Солдатенков откровенно объяснил:

— Вы должны просить, по крайней мере, втрое дороже. Потому что иначе нам не из-за чего хлопотать. Шестьсот тысяч с продажной цены каждого броненосца получит великий князь. Четыреста тысяч надо отдать госпоже Балетта. А что же останется на нашу-то долю — чинам морского министерства?

Чилийцы, возмущенные наглостью русских взяточников, заявили, что их правительство отказывается вести переговоры с посредниками, заведомо недобросовестными. Японцы же, как только русская сделка расстроилась, немедленно купили чилийские броненосцы. Потом эти самые

броненосцы топили наши корабли при Цусиме.

Госпожа Балетта, для которой Солдатенков требовал с чилийцев четыреста тысяч рублей, — последняя любовница Алексея, французская актриса. Не дав крупной взятки госпоже Балетта, ни один предприниматель или подрядчик не мог надеяться, что великий князь даже хоть примет его и выслушает.

Один француз изобрел необыкновенную морскую торпеду. Она поднимает могучий водяной смерч и топит им суда. Француз предложил свое изобретение русскому правительству. Его вызвали в Петербург. Но здесь — только за то, чтобы произвести опыт в присутствии Алексея, — с него спросили для госпожи Балетта двадцать пять тысяч рублей. Француз не имел таких денег и поехал восвояси, несолоно хлебав. В Париж явился к нему японский чиновник и купил его изобретение за большие деньги.

— Видите ли, — сказал японец, — несколькими месяцами раньше мы заплатили бы вам гораздо дороже, но теперь у нас изобретена своя торпеда, сильнее вашей.

— Тогда зачем же вы покупаете мою?

— Просто затем, чтобы ее не было у русских.

Как знать, не подобная ли торпеда опрокинула

«Петропавловск» и утопила экипаж его вместе с Макаровым — единственным русским адмиралом, который походил на моряка и знал толк в своем деле?

В последние десять лет жизни Алексеем вертела, как пешкою, Балетта. Раньше генерал-адмиральшею была Зинаида Дмитриевна, герцогиня Лейхтенбергская, урожденная Скобелева (сестра знаменитого «белого генерала»). К этой чины морского ведомства ходили с прямыми докладами, помимо Алексея. А он беспечно подписывал все, чего его красавица хотела.

Красным дням генерал-адмирала Алексея положила конец японская война. У японцев на Тихом океане оказались быстроходные крейсера и броненосцы, а у нас — старые калоши. Как хорошо генерал-адмирал обучал свой флот, вот свидетельство: «Цесаревич» впервые стрелял из орудий своих в том самом бою, в котором японцы издырявили его в решето. Офицеры не умели командовать. Суда не имели морских карт. Пушки не стреляли. То и дело топили своих, либо нарывались на собственные мины. Тихоокеанская эскадра засела в Порт-Артуре, как рак на мели. Послали на выручку балтийскую эскадру адмирала Рождественского. Тот, когда дело дошло до

собственной шкуры, доложил царю, что идти не с чем: брони на броненосцах — металлические лишь чуть сверху, а снизу деревянные. Уверяют, будто царь сказал тогда Алексею:

— Лучше бы ты, дядя, воровал вдвое да хоть брони-то строил бы настоящие!

После погибели «Петропавловска» Алексей имел глупость показаться в одном петербургском театре вместе со своей любовницей Балетта, обвешанною бриллиантами. Публика чуть не убила их обоих. Швыряли в них апельсинными корками, афишами, чем попало. Кричали:

— Эти бриллианты куплены на наши деньги! Отдайте! Это — наши крейсеры и броненосцы! Подайте сюда! Это — наш флот!

Алексей перестал выезжать из своего дворца, потому что на улицах ему свистели, швыряли в карету грязью. Балетта поспешила убраться за границу. Она увезла с собой несколько миллионов рублей чистыми деньгами, чуть не гору драгоценных камней и редкостное собрание русских старинных вещей. Это уж, должно быть, на память о русском народе, который они вместе с Алексеем ограбили.

Цусима докончила Алексея. Никогда с тех пор, как свет стоит, ни один флот не испытывал более

глупого и жалкого поражения. Тысячи русских людей пошли на дно вместе с калошами-судами и пушками, которые не достреливали до неприятеля. Нескольких часов японской пальбы достаточно было, чтобы от двадцатилетней воровской работы Алексея с компанией остались только щепки на волнах. Все сразу сказалось: и грабительство подлецов-строителей, и невежество бездарных офицеров, и ненависть к ним измученных матросов. Накормил царев дядя рыб Желтого моря русскими мужицкими телами в матросских рубахах и солдатских шинелях!

После отставки своей Алексей перекочевал за границу со всеми накраденными богатствами своими, под бочок к своей Балетте. Накупил дворцов в Париже и других приятных городах и сорил золото, украденное у русского народа, на девок, пьянство и азартные игры, покуда не помер от «случайной простуды».

Прочитал я это, и вспомнился мне наш пастух, дядя Емельян. Утром, еще до солнышка, издалека слышался его добрый, чуть насмешливый сильный голос:

— Бабы, коров! Бабы, коров!

Как начинал слышаться этот голос весной, в мае, так радостно билось сердце: скоро лето!

Потом, позже, он не пастушил уже, стар стал, а любил ходить удить на Катунъ. Я тоже любил удить, и мы, бывало, стояли рядом в затоне, молчали, наблюдая каждый за своими лесками. У нас не принято удить с поплавками, а надо следить за леской: как зачиркает она по воде, задрожит — подсекай, есть. А лески вили из конского волоса: надо было изловчиться надергать белых волос из конского хвоста; кони не давались, иной меринок норовит задом накинуть — лягнуть, нужна сноровка. Я добывал дяде Емельяну волос, а он учил меня сучить лесу на колене.

Я любил удить с дядей Емельяном: он не баловался в это дело, а серьезно, умно рыбачил. Хуже нет, когда взрослые начинают баловаться, гоготать, шуметь… Придут с неводом целой оравой, наорут, нашумят, в три-четыре тони огребут ведро рыбы, и — довольные — в деревню: там будут жарить и выпивать.

Мы уходили подальше куда-нибудь и там стояли босиком в воде. До того достоишь, что ноги заломит. Тогда дядя Емельян говорил:

— Перекур, Васька.

Я набирал сушняка, разводили огонек на берегу, грели ноги. Дядя Емельян курил и что-нибудь рассказывал. Тогда-то я и узнал, что он был моря-

ком и воевал с японцами. И был даже в плену у японцев. Что он воевал, меня это не удивляло — у нас все почти старики где-нибудь когда-нибудь воевали, но что он — моряк, что был в плену у японцев — это интересно. Но как раз об этом он не любил почему-то рассказывать. Я даже не знаю, на каком корабле он служил: может, он говорил, да я забыл, а может, и не говорил. С расспросами я стеснялся лезть, это у меня всю жизнь так, слушал, что он сказывал, и все. Он не охотник был много говорить: так, вспомнит что-нибудь, расскажет, и опять молчим. Я его как сейчас вижу: рослый, худой, широкий в кости, скулы широкие, борода пегая, спутанная… Стар он был, а все казался могучим. Один раз он смотрел-смотрел на свою руку, которой держал удилище, усмехнулся, показал мне на нее, на свою руку, глазами.

— Трясется. Дохлая… Думал, мне износу не будет. Ох, и здоровый же был! Парнем гонял плоты… От Манжурска подряжались и гнали до Верх-Кайтана, а там городские на подводах увозили к себе. А в Нуйме у меня была знакомая краля… умная женщина, вдовуха, но лучше другой девки. А нуйминские — поперек горла, што я к ей… ну, проведаю ее. Мужики в основном дулись. Но я на их плевал с колокольни, на дураков, ходил, и

все. Как плыву мимо, плот причаливаю, привязываю его канатами — и, значит, к ей. Она меня привечала. Я бы и женился на ей, но вскорости на службу забрили. А мужики чего злятся? Што вот чужой какой-то повадился… Она всем глянулась, но все — женатые, а вот все одно — не ходи. Но не на того попали. Раз как-то причалились, напарник мой к бабке одной проворной, та самогонку добрую варганила, а я — к зазнобе своей. Подхожу к дому-то, а там меня поджидают: человек восемь стоят. Ну, думаю, столько-то я раскидаю. Иду прямо на их… Двое мне навстречу: «Куда?» Я их сгреб обоих за грудки, как двинул в тех, которые сбоку-то поджидали, штук пять свалил. Они на меня кучей, у меня сердце разыгралось, я пошел их шшолкать: как достану какого, так через дорогу летит, аж глядеть радостно. Тут к им ишо подбежали, а сделать ничо не могут… Схватились за колья. Я тоже успел, жердину из прясла выдернул и воюю. Сражение целое было. У меня жердь-то длинная — они не могут меня достать. Камнями начали… Бессовестные. Они, нуйминские, сроду бессовестные. Старики, правда, унимать их стали — с камнями-то: кто же так делат! И так уж человек двенадцать на одного, да ишо с камнями. Сражались мы так до-олго, я спотел… Тут какая-то

бабенка со стороны крикнула: плот-то!.. Они, собаки, канаты перерубили — плот унесло. А внизу — пороги, его там растрепет по бревнышку, весь труд даром. Я бросил жердь — и догонять плот. От Нуймы до Быстрого Исхода без передыху гнал — верст пятнадцать. Где по дороге, а где по камням прямо — боюсь пропустить-то плот-то. Обгонишь, и знать не будешь, так я уж берегом старался. От бежал!.. Никогда в жизни больше так не бегал. Как жеребец. Догнал. Подплыл, забрался на плот — слава те господи! А тут вскорости и пороги; там двоим-то — еле-еле управиться, а я один: от одного весла к другому, как тигра бегаю, рубаху скинул… Управился. Но бежал я тада!.. — дядя Емельян усмехнулся и качнул головой. — Никто не верил, што я его у Быстрого Исхода догнал: не суметь, мол. Захочешь — сумеешь.

— А потом чего не женился?

— Когда?

— Ну, со службы-то пришел…

— Да где! Тада служили-то по сколь!.. Я раньше время пришел, с пленом-то с этим, и то… лет уж тридцать пять было — ждать, что ли, она будет? Эх, и умная была! Вырастешь — бери умную. Красота бабская, она мужику на первое время только — повыхваляться, а потом… — дядя Емельян

помолчал, задумчиво глядя на огонек, посипел «козьей ножкой». — Потом требуется другое. У меня и эта баба с умом была, чего зря грешить.

Бабку Емельяниху я помнил: добрая была старуха. Мы с ними соседи были, нашу ограду и их огород разделял плетень. Один раз она зовет меня из-за плетня:

— Иди-ка суда-то!

Я подошел.

— Ваша курица нанесла — вишь, сколь! — показывает в подоле с десяток яиц. — Вишь, подрыла лазок под плетнем и несется тут. На-ка. С пяток матри (матери) отдай, а пяток, — бабка оглянулась кругом и тихо досказала, — этим отнеси, на сашу (шоссе).

На шоссе (на тракте) работали тогда заключенные, и нас, ребятишек, к ним подпускали. Мы носили им яйца, молоко в бутылках… Какой-нибудь, в куртке в этой, тут же выпьет молоко из горлышка, оботрет горлышко рукавом, накажет:

— Отдай матери, скажи: «Дяденька велел спасибо сказать».

— Я помню бабку, — сказал я.

— Ниче… хорошая была баба. Заговоры знала.

И дядя Емельян рассказал такую историю.

— Сосватали мы ее — с братом старшим ездили,

с Егором, она — вон талицкая (это через речку), — привезли… Ну, свальба (свадьба)… Гуляем. А мне только пинжак новый сшили, хороший пинжак, бобриковый… Как раз к свадьбе и сшили-то, Егорка же и дал деньжонок, я-то как сокол пришел. И у меня прямо со свадьбы этот пинжак-то сперли. Меня аж горе взяло. А моя говорит: «Погоди-ка, не кручинься пока: не вернут ли». Где, думаю, вернут! Народу столько перебыло… Но знаю, што — не из нашенских кто-то, а из талицких, наверно: наш-то куда с им денется? А шили-то тада на дому прямо: приходил портняжка с машинкой, кроил тут же и шил. Два дня, помню, шил: тут же и питался, и спал. Моя чо делат: взяла лоскут от шитья — лоскутов-то много осталось — обернула его берестой и вмазала глиной в устье печки, как раз, где дым в чувал загибает, самый густой идет. Я не понял сперва: «Чего, мол, ты?» — «А вот, говорит, его теперь каждое утро корежить будет, вора-то. Как затопим печку, так его начнет корежить, как ту бересту». И чо ты думаешь? Через три дня приходит из Талицы мужичонка, какая-то родня ее, бабе-то моей… С мешком. Пришел, положил мешок в угол, а сам — бух, на коленки передо мной. «Прости, говорит, грех попутал: я пинжак-то унес. Поглянулся». Вытаскивает из

мешка мой пинжак и гусиху с вином, теперь — четверть, а раньше звали — гусиха. Вот, вишь… «Не могу, говорит, жить — измаялся».

— Побил его? — спросил я.

— Да ну!.. Сам пришел… Зачем же? Выпили эту его гусиху, да я ишо одну достал, и ту выпили. Не одни, знамо дело: я Егора позвал с бабой, ишо мужики подошли — чуть не новая свадьба!.. Я рад без ума — пинжак-то добрый. Годов десять его носил. Вот какая у меня старуха была. Она тада-то не старуха была, а вот… знала. Царство небесное.

Было у них пятеро сыновей и одна дочь. Троих на этой войне убило, а эти в город уехали. Доживал дядя Емельян один. Соседи по очереди приходили, топили печку, есть давали… Он лежал на печке, не стонал, только говорил:

— Спаси вас бог… Зачтется.

Как-то утром пришли — он мертвый.

Для чего же я сделал такую большую выписку про великого князя Алексея? Я и сам не знаю. Хочу растопырить разум, как руки, — обнять две эти фигуры, сблизить их, что ли, чтобы поразмыслить, — поразмыслить-то сперва и хотелось, — а не могу. Один упрямо торчит где-то в Париже, другой — на Катуни, с удочкой. Твержу себе, что ведь — дети одного народа, может, хоть злость

возьмет, но и злость не берет. Оба они давно в земле — и бездарный генерал-адмирал, и дядя Емельян, бывший матрос... А что, если бы они где-нибудь ТАМ — встретились бы? Ведь ТАМ небось ни эполетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц, ничего: встретились две русских души. Ведь и ТАМ им не о чем было бы поговорить, вот штука-то. Вот уж чужие так чужие — на веки вечные. Велика матушка-Русь!

***

Copyright (c) 2001 Электронная библиотека Алексея Снежинского

Живет такой парень

Есть на Алтае тракт — Чуйский. Красивая стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам.

Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды — все с Чуйского тракта.

Села, расположенные вдоль тракта, издавна поставляли ему сперва ямщиков, затем шоферов. Он (тракт) манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийска до Ини хотя бы, заглянуть вниз с перевала Чике-таман (Чик-ата-ман, как зовут его шоферы) — и жутковато станет, и снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу поднебесной выси…

И еще есть река на Алтае — Катунь. Злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, ревет — рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине — тихо, слышно, как утка в затоне пьет за островом. От-

дыхает река. Чистая, светлая — каждую песчинку на дне видно, каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит… Красиво, очень красиво! Не расскажешь словами.

И вот несутся они в горах рядом — река и тракт. Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра, или что это — влюбленные, или что это, наоборот, ненавидящие друг друга Он и Она, но за какие-то грехи тяжкие заколдованные злой силой быть вечно вместе… Хочется очеловечить и дорогу, и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами.

Много, очень много машин на тракте. День и ночь гудят они, воют на перевалах, осторожно огибают бомы (крутые опасные повороты над кручей). И сидят за штурвалами чумазые внимательные парни. Час едут, два едут, пять часов едут… Устают смертельно. В сон вдруг поклонит. Тут уж лучше остановиться и поспать часок-полтора, чтоб беды не наделать. Один другому может так рассказывать:

— Еду, говорит, и так спать захотел — сил нет. И заснул. И заснул-то, наверно, на две секунды. И вижу сон: будто одним колесом повис над об-

рывом. Дал тормоз. Проснулся, смотрю — правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером, дома, жутко стало…

А зимой, бывает, заметет Симинский перевал — по шесть, по восемь часов бьются на семи километрах, прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. Пять метров разгребают лопатами снег, пять — едут, снова пять — разгребают, пять — едут… В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую, и красота вокруг не красота. Одно спасение — хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе.

Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хорошие, надежные души.

Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты:

Помоги товарищу в беде.

Не ловчи за счет другого.

Не трепись — делай.

Помяни добрым словом хорошего человека.

Немного. Но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей. И они определяют отношения между ними. И я выбирал героя по

этому признаку. Прежде всего. И главным образом.

В хороший осенний день шли порожняком по Чуйскому тракту две машины «ГАЗ—51». Одну вел молодой парень, другую — пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами.

Парень задумчиво, с привычным прищуром смотрит вперед — это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович.

На тракте в сторонке стоит «козлик». Под «козликом» — шофер, а рядом — молодой еще, в полувоенном костюме, председатель колхоза Прохоров Иван Егорович.

Надежды, что «козлик» побежит, нет. Прохоров «голоснул» одной машине, она пролетела мимо. Другая притормозила. Шофер откинул дверцу — это Пашка.

— До Баклани подбрось.

— Ты один?

— Один.

— Садись.

Прохоров крикнул своему шоферу:

— Прислать, что ль, кого-нибудь?!

Шофер вылез из-под «козлика».

— Пришли Семена с тросом!

Пашка с Прохоровым поехали.

…Летит под колеса горбатый тракт. Мелькают березки, мелькают столбики…

— Ты куда едешь? — поинтересовался Прохоров.

— В командировку.

— В колхоз, что ли?

— Мгм. Помочь мужичкам надо.

— А куда?

— Деревня Листвянка.

Прохоров внимательно посмотрел на Пашку, — видно, в начальственной его голове зародилась какая-то «мысля».

…Летит машина по тракту. Блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь.

…Прохоров и Пашка продолжают разговор.

— Тебя как зовут-то? — как бы между прочим спрашивает Прохоров.

— Меня-то? — охотно отвечает Пашка. — Павел Егорыч.

— Тезки с тобой, — идет дальше Прохоров. — Я по батьке тоже — Егорыч. А фамилия моя — Прохоров.

— Очень приятно, — говорит Пашка любезно. — А я — Колокольников.

— Тоже приятно.

Машина остановилась — перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов. Пашка вылез из кабины.

— Что там? — спросил Прохоров.

— Завал. Счас рвать будут.

Прохоров тоже вылез. Пошел за Пашкой.

— Поехали ко мне, Егорыч? — неожиданно предложил он.

— То есть как?

— Так. Я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я — тоже председатель. Листвянка — это вообще-то дыра дырой. А у нас деревня…

— Что-то не понимаю. У меня же в командировке точно сказано…

— Да какая тебе разница! Я тебе дам документ, что ты отработал у меня — все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Что, так не делают, что ли? Сколько угодно.

— Я же не один.

— А кто еще?

— А он… — Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них. — Старший мой.

— А ты поговори с ним. Пусть он — в Листвянку, а ты — ко мне. Я прямо замучился без хороших

шоферов. А? Я же не так просто, я заработать дам. А?

— Не знаю… Надо поговорить.

— Поговори. На меня шофера никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает — хоть Лазаря пой.

— Ладно, — сказал Пашка.

Так попал Павел Егорыч в Баклань. Вечером, после работы, уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.

— Жена должна чувствовать, — утверждал Пашка.

— Правильно, Егорыч, — поддакивал Прохоров, стаскивая с ноги тесный сапог. — Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?

— Если я прихожу домой, — продолжал Пашка, — так? Усталый, грязный, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например: «Привет, Маруся!» Она мне весело: «Здорово, Павлик! Ты устал?»

— А если она сама, бедная, намотается за день, то откуда же у нее веселье возьмется? — замечала хозяйка.

— Все равно. А если она грустная, кислая, я ей говорю: «Пирамидон!» — и меня потянет к другим. Верно, Егорыч?

— Абсолютно! — поддакивал Прохоров. Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков «охальниками».

В клубе Пашка появился в тот же вечер. Сдержанно веселый, яркий, в белой рубахе с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой вился чуб.

— Как здесь население… ничего? — поинтересовался он у одного парня, а сам стрелял глазами по сторонам, проверяя, какое произвел впечатление на «местное население».

— Ничего, — неохотно ответил парень.

— А ты, например, чего такой кислый?

— А ты кто такой, чтобы допрос устраивать? — обиделся парень.

Пашка миролюбиво оскалился.

— Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.

— Смотри, как бы тебе самому не навели здесь.

— Не наведут. — Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят.

Его тоже рассматривали.

Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое всегда волновало его.

Танец кончился. Пары расходились по местам.

— Что это за дивчина? — спросил Пашка у того же парня: он увидел Настю Платонову, местную красавицу.

Парень не пожелал больше с ним разговаривать, отвернулся.

Заиграли фокстрот.

Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился и громко сказал:

— Предлагаю на тур фокса.

Все подивились изысканности Пашки — на него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом.

Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали.

Настя была несколько тяжела в движениях. Зато Пашка с ходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать — смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе — и кружился, кружился…

Настя весело спросила:

— Откуда ты такой?

— Из Москвы, — небрежно бросил Пашка.

— Все у вас там такие?

— Какие?

— Такие… воображалы.

— Ваша серость меня удивляет, — сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти.

Настя тихо засмеялась.

Пашка сказал:

— Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал.

— Быстрый ты. — Настя в упор смотрела на Пашку.

— Я на полном серьезе!

— Ну, и что?

— Я вас провожаю сегодня до хаты? Если у вас, конечно, нет какого-нибудь хахаля. Договорились? Мм?

Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой.

Фокстрот окончился.

Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе.

Парни косились на него.

— Что, братцы, носы повесили? — спросил Пашка.

— Тебе не кажется, что ты здесь развел слиш-

ком бурную деятельность? — спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.

— Нет, не кажется.

— А мне кажется.

— Перекрестись, если кажется.

Парень нехорошо прищурился.

— Выйдем на пару минут… потолкуем.

Пашка улыбнулся.

— Не могу.

— Почему?

— Накостыляете ни за что… А вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому на мозоль не наступал.

Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились.

Пока разговаривали, заиграли танго, и Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурок… И тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок и прищурился.

— Посмотрим, кто кого сфотографирует, — сказал он и поправил фуражку. — Я этих интелли-

гентов одной левой делаю.

Танго кончилось.

Пашка подошел к Насте.

— Вы мне не ответили на один вопрос.

— На какой вопрос?

— Я вас провожаю сегодня до хаты?

— Я одна пойду. Спасибо.

Пашка сел рядом с девушкой. Круглые глаза его стали серьезны. Длинные тонкие пальцы незаметно дрожали.

— Поговорим, как жельтмены…

— Боже мой, — вздохнула Настя и, поднявшись, направилась в другой конец зала.

Пашка смотрел ей вслед… Слышал, как вокруг него посмеивались. Но не испытывал никакого стыда. Только стало горячо под ложечкой. Горячо и больно. Он встал и вышел из клуба.

На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бостоновый пиджак — и появился такой в сельской библиотеке (Настя работала библиотекарем).

— Здравствуйте! — солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней.

Настя улыбнулась ему, как старому знакомо-

му.

У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал «Огонек».

Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю — ноль внимания. Он сообразил, что парень с «Огоньком» и есть тот самый инженер, жених.

— Хочешь почитать что-нибудь? — спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.

— Да, надо, знаете…

— Что хотите? — Настя тоже невольно перешла на «вы».

— «Капитал» Карл Маркса. Я там одну главу не дочитал…

Парень оторвался от «Огонька», взглянул на Пашку.

Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась.

— Ваша фамилия?

— Колокольников Павел Егорыч. Год рождения 1937, водитель-механик второго класса. Холост.

Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня… Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул.

— Кроссвордиками занимаемся?

— Да…

— Между прочим. Гена, он тоже из Москвы, — объявила Настя.

— Ну, — Гена искренне обрадовался. — Вы давно оттуда? Расскажите, что там нового.

Пашка излишне долго расписывался в абонементе, потом критически рассматривал том «Капитала», молчал.

— Спасибо, — наконец сказал он Насте. Потом подошел к парню, протянул руку. — Павел Егорыч Колокольников.

— Гена. Очень рад. Как Москва-то?

— Москва-то? — переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов. — Шумит Москва, шумит. — И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил: — Люблю смешные журналы. Особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчас…

— Да, смешно бывает. А вы давно из Москвы?

— Из Москвы-то? — Пашка перевернул страничку журнала. — Я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала.

— Вы же мне вчера в клубе сами говорили! — изумилась Настя.

Пашка глянул на нее, улыбнулся.

— Что-то не помню.

Настя посмотрела на Гену, Гена — на Пашку.

Пашка разглядывал картинки.

— Странно, — сказала Настя. — Значит, мне приснилось.

— Бывает, — согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал. — Вот, пожалуйста, — красавец, — сказал он, подавая журнал Гене. — Кошмар!

Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся.

— Вы надолго к нам?

— Так точно. — Пашка посмотрел на Настю, та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это. — Сыграем в шашки? — предложил он инженеру.

— В шашки? — удивился инженер. — Может, в шахматы?

— В шахматы скучно, — сказал Пашка (он не умел в шахматы). — Думать надо. А в шашечки — раз-два, и пирамидон.

— Можно в шашки, — согласился Гена.

Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.

— За фук берем? — спросил Пашка.

— Как это? — не понял Гена.

— А это когда игрок прозевает бить, берут штрафную шашку, — пояснила Настя.

— А-а. Можно брать. Берем.

Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной.

— В какой?

— В левой.

— Ваша не пляшет. — Белыми играл Пашка.

— Сделаем так, — начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле; выражение его лица было довольное и хитрое. — Здесь курить, конечно, нельзя? — спросил он Настю.

— Нет, конечно.

— Нельзя, так нельзя… — Пашка пошел второй шашкой. — Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы.

Инженер играл слабо, это было видно сразу. Настя стала ему подсказывать. Он возражал:

— Погоди! Ну также нельзя, слушай… зачем же подсказывать?

— Ты же неверно ходишь.

— Ну и что! Играю-то я.

— Учиться надо.

Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и с толком.

— Вон той, Гена, крайней, — снова не выдержала Настя.

— Нет, я не могу так! — закипятился Гена. — Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду

принципиально.

— А чего ты волнуешься? Вот чудак!

— Как же мне не волноваться?

— Волноваться вредно, — вмешался в спор Пашка и подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась.

— Ну и проиграешь сейчас. Принципиально.

— Нет, зачем? — снисходительно сказал Пашка. — Тут еще полно шансов меня сфотографировать… Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить.

— Теперь проиграл, — с досадой сказала Настя.

— Занимайся своим делом! — обиделся Гена по-настоящему. — Нельзя же так, в самом деле. Отойди!

— А еще инженер. — Настя встала.

— Это уже… не остроумно. При чем тут «инженер»?

— «Боюсь ему понравиться-а…» — запела Настя и ушла в глубь библиотеки.

— Женский пол, — снисходительно заметил Пашка.

Инженер смешал шашки, сказал чуть охрипшим голосом:

— Я проиграл.

— Выйдем покурим? — предложил Пашка.

— Пойдем.

На крыльце, закуривая, инженер пожаловался:

— Не понимаю, что за натура? Во все обязательно вмешается.

— Ничего, — сказал Пашка. — Пройдет… Давно здесь?

— Что?

— Давно здесь живешь?

— Живу-то? Второй месяц.

— Жениться хочешь?

Инженер с удивлением глянул на Пашку. Пашкин взгляд был прям и серьезен.

— На ней? Да. А что?

— Правильно. Хорошая девушка. Она любит тебя?

Инженер вконец растерялся.

— Любит?.. По-моему, да.

Пашка курил и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил:

— Ты «Капитал» действительно читаешь?

— Нет, конечно. — Тут Пашка увидел на улице автобус — «Моды в село». — Пойдем посмотрим, — предложил он.

— А что там? — спросил Гена.

— Костюмы показывают.

— «Дом моделей»? — с удивлением прочитал

Гена.

— Сходим вечерком, посмотрим? — Пашка повернулся к Гене. — Музыка играет…

— Здравствуйте, дорогие друзья! — сказала приветливая женщина. — Мы показываем вам моды осенне-зимнего сезона. Обратите внимание на удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую… Машенька, пожалуйста!

Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда.

— Это — Маша-птичница! — пояснила приветливая женщина. — Маша не только птичница, она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.

Маша-птичница улыбнулась в зал.

— На переднике, с правой стороны, предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.

Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.

— Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу и, едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой

бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.

Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша-птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он осторожненько взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала:

— Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.

Пашка отодвинулся от нее.

— А вот костюм для полевых работ! — возвестила стареющая женщина.

На сцену, под музыку (музыка уже другая — быстрая, игривая), вышла другая девушка — в брюках, в сапожках и в курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького.

— Это — Наташа, — стала пояснять женщина. — Наташа — ударник коммунистического труда, член полеводческой бригады. Я говорю условно, товарищи, вы меня, конечно, понимаете. — Женщина обаятельно улыбнулась. — Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка, — продолжает она рассказывать. — Подул холодный осенний ветер…

Наташа увлеклась ходьбой под музыку — не среагировала на последние слова.

— Наташа! — Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку. — Подул ветер.

Наташа подняла воротник.

— Подул холодный осенний ветер — у куртки имеется глухой воротник.

Музыканты играют, притопывают ногами. Особенно старается ударник.

— Наташа передовая не только в труде, но и в быту. Поэтому все на ней опрятно и красиво.

Наташа улыбнулась в зал, как будто несколько извиняясь за то, что она такая передовая в быту.

— Спасибо, Наташенька.

Наташа ушла со сцены и стала переодеваться в очередное вечернее платье. А женщина стала рассказывать, как надо красиво одеваться, чтобы не было крикливо и в то же время модно. Упрекнула «некоторых молодых людей», которые любят одеваться крикливо (ей очень нравилось это слово — «крикливо»).

…Пашка склонился к Насте и сказал:

— Я уже вторые сутки страдаю — так? — а вы мне — ни бэ, ни мэ, ни кукареку.

Настя повернулась к Гене.

— Ген, дай я на твое место сяду.

Пашка засуетился громко.

— Загораживают, да? — спросил он Настю и постучал пальцем по голове впереди сидящего товарища. — Эй, товарищ! Убери свою голову.

Товарищ «убрал» голову.

Настя осталась сидеть на месте.

— …Вот — вечернее строгое платье простых линий. Оно дополнено шарфом на белой подкладке. Как видите, красиво, просто и ничего лишнего. Каждой девушке приятно будет пойти в таком платье в театр, на банкет, на танцы… В этом сезоне очень модно сочетание цветов черного с белым.

Пашка потянул к себе кофту, которая была у Насти на руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый…

— Гена, сядь на мое место, — попросила Настя.

Гена с готовностью сел на место Насти.

Пашка заскучал.

А на сцене в это время демонстрировался «костюм для пляжа из трех деталей».

— Платье-халат. Спереди на кнопках.

Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали.

— Очень удобно, не правда ли? — спросила женщина.

...Пашка встал и пошел из клуба.

Опять сорвалось.

Дома он не раздеваясь прилег на кровать.

— Ты чего такой грустный? — спросил Прохоров.

— Да так... — отозвался Пашка. Полежал несколько минут и вдруг спросил: — Интересно, сейчас женщин воруют или нет?

— Как это? — не понял Прохоров.

— Ну, как раньше... Раньше ведь воровали.

— А-а... А черт его знает. А зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады, без воровства.

— Это, конечно. Я так просто, — согласился Пашка. Еще немного помолчал. — И статьи, конечно, за это никакой нет?

— Наверно. Я не знаю.

Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал.

А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Геной.

— Генка, это же так все смешно, — пыталась урезонить Настя жениха.

— А мне не смешно, — упорствовал тот. — Мне больно. За тебя больно...

— Неужели ты серьезно думаешь, что...

— Думаю! Потому что — вижу! Если ты можешь с первым встречным…

— Перестань!!! — оборвала его Настя.

— А почему «перестань»? Если ты можешь…

— Перестань! — опять властно сказала Настя.

Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты, пропел свое любимое:

И за борт ее бросает
В набежа-авшую волну…

Хлопнула дверь.

Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки.

Хлопнула дверь.

Настя осталась одна.

Горько ей.

Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки. Тарахтел движок.

Во дворе РТС его окликнули.

— Свои, — сказал Пашка.

— Кто — свои?

— Колокольников.

— Командировочный, что ль?

— Да.

В круг света вышел дедун — сторож в тулупе, с берданкой.

— Ехать, что ль?

— Ехать.

— Закурить имеется?

— Есть. Закурили.

— Дождь, однако, ишо будет, — сказал дед и зевнул. — Спать клонит в дождь.

— А ты спи, — посоветовал Пашка.

— Нельзя. Я тут давеча соснул было, да знаешь…

Пашка прервал словоохотливого старика:

— Ладно, батя, я тороплюсь.

— Давай, давай. — Старик опять зевнул.

Пашка завел машину и выехал со двора.

На улицах в деревне никого не было. Даже парочки куда-то попрятались. Пашка ехал на малой скорости. У Настиного дома остановился. Вылез из кабины. Мотор не заглушил.

— Так, — негромко сказал он и потер ладонью грудь: волновался.

Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами, — Настя. Сердце Пашки громко

колотилось.

Он кашлянул, осторожно потряс забор — во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши.

Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчанье своей верной машины, свои шаги и громкую капель.

Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последних два шага и стал в простенке. Перевел дух.

Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы: печку-голландку, дверь, кровать… Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову — Настя. Не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик.

Настя откинула крючки и раскрыла раму.

Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.

— Ты что? — спросила она негромко.

«Неужели узнала?» — подумал Пашка. Он хотел, чтоб его принимали пока за другого. Он молчал.

Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла

ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь.

Настя склонилась над подоконником… Он отстранил ее и полез в горницу.

— Додумался? — сказала Настя потеплевшим голосом. — Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич.

Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее, теплую, мягкую… Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке тесемка.

— Ох, — глубоко вздохнула Настя. — Что же ты делаешь? Шальной…

Пашка начал ее целовать… Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.

«Все. Конец». Пашка приготовился к худшему: сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его «фотографировать». На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет… Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье.

Пашка ласково улыбнулся ей.

— Испугалась?

Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке…

— Здравствуйте, Павел Егорыч.

Пашка «культурно» поклонился… И тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю.

— Ну зачем же так, Настя?

А Гена ходит, мучается по комнате. «Неужели все это серьезно?» — думает он. Постоял у окна, подошел к столу, постоял… Взял журнал, прилег на диван.

И тут вошел Пашка.

— Переживаешь? — спросил он.

Гена вскочил с дивана.

— Я не понимаю, слушай… — начал он строго.

— Поймешь, — прервал его Пашка. — Любишь Настю?

— Что тебе нужно?! — взорвался Гена.

— Любишь, — продолжал Пашка. — Иди — она в машине сидит.

— Где сидит?

— В машине! На улице.

Гена взял фонарик и пошел на улицу.

— А ко мне зря приревновал, — грустно вслед ему сказал Пашка. — Мне с хорошими бабами не везет.

Настя сидела в кабине Пашкиной машины.

Гена постоял рядом, помолчал… Сел тоже в

кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться — так повелось у влюбленных.

А Пашка пошел на Катунь — пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет.

Шумит, кипит в камнях река… Слушает Пашку, понимает и несется дальше, и уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно.

Утро ударило звонкое, синее. Земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью.

Едет Пашка. Устал за ночь.

У одной небольшой деревни подсадил хорошенькую круглолицую молодую женщину.

Некоторое время ехали молча.

Женщина поглядывала по сторонам.

Пашка глянул на нее пару раз и спросил:

— По-французски не говорите?

— Нет, а что?

— Так, поболтали бы… — Пашка закурил.

— А вы что, говорите по-французски?

— Манжерокинг!

— Что это?

— Значит, говорю.

Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.

— Как будет по-французски «женщина»?

Пашка снисходительно улыбнулся.

— Это — смотря какая женщина. Есть — женщина, а есть — элементарная баба.

Женщина засмеялась.

— Не знаете вы французский.

— Я?

— Да, вы.

— Вы думаете, что вы говорите?

Бежит машина. Блестит Катунь под нежарким осенним солнышком.

— …А почему, как вы думаете? — продолжается разговор в кабине.

— Скучно у нас, — отвечает Пашка.

— Ну а кто виноват, как вы думаете?

— Где?

— Что скучно-то. Кто виноват?

— Начальство, конечно.

Женщина заметно заволновалась.

— Да при чем же здесь начальство-то? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начиная. Я уже не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите!.. Боже, чего там

только нет! Думочки разные, подушечки, слоники дурацкие…

Пашкиному взору представилась эта картина: думочки, сумочки, вышивки, слоники… Катя Лизунова вспомнилась (знакомая его).

— …Кошечки, кисочки, — продолжает женщина. — Это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Ведь это же в наших руках — сделать жизнь интересной.

— Нет, если, допустим, хорошо вышито, то… почему? Бывает, вышивать не умеют, это действительно, — вставил Пашка.

— Да все равно, все равно!.. — загорячилась женщина. — Поймите вы это, ради Бога! Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати, повесить на стенку три-четыре хорошие репродукции, на стол — какую-нибудь современную вазу…

Пашке опять представилась комната знакомой ему Катьки Лизуновой. Волшебством кинематографа высокая Катькина кровать сменяется низкой тахтой, срываются со стен вышивки и заменяются репродукциями картин больших мастеров, исчезают слоники…

— Поставить книжный шкаф, на стол бросить несколько журналов, торшер поставить, — про-

должает женщина.

…А в комнате Катьки Лизуновой (по команде женщины, под ее голос), продолжают происходить чудесные преобразования…

И вот — кончилось преобразование. (Смолк голос женщины.)

И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорей всего француженка какая-то, но похожая на Катьку. Читает.

И входит в комнату сам Пашка — в цилиндре, в черном фраке, с сигарой и с тросточкой. Раскланялся с Катькой, снял цилиндр, уселся в кресло и начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается! Пашка ей с улыбкой — слово, она ему — два, он ей — слово, она ему — два. Да все с прононсом, все в нос.

— …Неужели все это трудно сделать? — спрашивает женщина Пашку. — Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше.

Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится.

— Можно, наверно.

— Можно!.. Все можно. Сами виноваты. Это же в наших возможностях.

А над русской землей встает огромное солнце. Парит пашня. Дымят далекие костры. Стелется

туман.

Едут Пашка с женщиной.

Пашка заметил, что женщина что-то уж очень нетерпеливо стала посматривать вперед. Спросила:

— А долго нам еще ехать?

— Еще километров тридцать с гаком. Да гак — километров десять.

— Сколько? — Женщина затосковала.

Пашка понял: приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к Катуни, остановил машину.

— Ну-ка, милая, возьми ведерко да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю.

— С удовольствием! — воскликнула женщина, взяла ведро и побежала через кустарник вниз, к реке. Пашка внимательно посмотрел ей вслед.

Муж действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятный, с узким остроносым лицом. Очень обрадовался. Растерялся: не знал — то ли целовать жену, то ли снимать чемоданы с кузова. Запрыгнул в кузов.

Женщина полезла в сумочку за деньгами.

— Сколько вам?

— Нисколько. Иди к мужу-то… поцелуйтесь хоть — я отвернусь. — Пашка улыбнулся.

Женщина засмеялась.

— Нет, правда, сколько?

— Да нисколько! — заорал Пашка. — Кошмар с этими… культурными. Другая давно бы уж поняла.

Женщина пошла к мужу.

Тот стал ей подавать чемоданы. Негромко стал выговаривать:

— Почему все-таки одна приехала? Я же писал: не садись одна с шофером. Писал?

— А что тут особенного? — тоже негромко возразила женщина. — Он хороший парень.

— Откуда ты знаешь, хороший он или плохой? Что у него, на лбу написано? Хороший… Ты еще не знаешь их. Они тут не посмотрят…

Пашка слышал этот разговор. Злая, мстительная сила вытолкнула его из кабины.

— Ну-ка, плати за то, что я вез твою жену. Быстро!

— А она что, не заплатила? Ты разве не заплатила? — Муж растерялся: глаза у Пашки были как у рассвирепевшей кошки.

— Он не взял… — Женщина тоже растерялась.

Пашка не смотрел на нее.

— Плати! — рявкнул он.

Муж поспешно сунулся в карман… Но тут же

спохватился.

— А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько?

— Два рубля.

— Что-о! Тут же только пятьдесят копеек берут!

— Два рубля!!!

— Олег! — сказала женщина. — Немедленно заплати ему… Заплати ему два рубля.

— Пожалуйста. — Муж отдал Пашке два рубля.

Машина рванула с места и поехала дальше.

Пашка догнал Кондрата (напарника своего).

Кондрат сидел со стариком хозяином, у которого он остановился. Старики толковали про жизнь. Хозяин рассказывал:

— Да… вот так, значит. Вырастил я их, лоботрясов, шесть человек, а сейчас один остался, как гвоздь в старой плахе. Разъехались, значит, по городам. Ничего, вроде, живут, справно, а меня обида берет: для кого же я весь век горбатился, для кого дом этот строил?

— Такая уж теперь наша жизнь пошла — ничего не поделаешь.

— Жись эта меня не касается?

— Она всех касается, кум.

— Кхх!.. Мне вот надо бы крышу сейчас новую,

а не могу — сил не хватает. А эта, лонись, приехал младший: поедем, говорит, тять, со мной. Продай, говорит, дом и поедем. Эх ты, говорю, сопля ты такая! Я сейчас кто? Хозяин. А без дома кто? Пес бездомный.

— Ты зря так… Зря.

— Нет, не зря.

— Зря.

— Ты, значит, никогда не крестьянствовал, если так рассуждаешь.

— Я до тридцати пяти годов крестьянствовал, если хочешь знать. А опора сейчас — не дом.

— А кто же? Тилифизоры ваши? Финтифлюшки разные?

Тут вошел Пашка.

— Здорово, старички!

Кондрат нахмурился.

— Подольше не мог?

— Все в порядке, дядя Кондрат.

Кондрат хочет изобразить из себя — перед хозяином — наставника строгого, как бы отца.

— Шалапутничать начинаешь, Павел. Сма-атри! Я на сколько тебя отпускал?

Пашка для приличия виновато наморщился.

Пауза.

— Чего делал-то там? — мягче спросил Кон-

драт.

— Лес возили. — Пашка пошел переодеваться в другую комнату.

— Посиди с нами, — пригласил хозяин. — Мы тут как раз про вас, кобелей, разговариваем.

— Некогда, братцы, — отказался Пашка. — В гости иду.

— Далеко ли? — поинтересовался Кондрат.

— К Лизуновым.

— Это кто такие?

— Тэ-э… знакомая одна…

— Расплодил ты этих знакомых!.. — строго заметил Кондрат. — Переломают где-нибудь ноги-то.

— Искобелились все, — согласно проворчал хозяин. — А вот был бы при хозяйстве-то, небось не побежал бы сейчас к Катьке-разведенке, а копался бы дома.

— Свобода личности, чего вы хотите! — возразил Пашка.

— Избаловала вас Советская власть, избаловала. Я бы вам показал личность! Встал бы у меня в пять часов и работал бы, сукин сын, допоздна, пока солнце не сядет. Вот тогда не до Катьки было бы.

Тут вошла хозяйка. Закудахтала…

— Кум! Здравствуй, кум!

— Марфынька, — заныл старик хозяин. — Однако ж где-то было ведь у нас… кхэ…

— Чего «было»? Чего закряхтел?..

— Было же где-то… Нам бы с кумом — по махонькой.

— Э-эх… Ладно, для кума…

— Давай, давай…

Лизуновы ужинали.

— Приятного аппетита! — сказал Пашка.

— Садись с нами, — пригласил хозяин.

— Спасибо. — Пашка присел на припечке. — Только что из-за стола.

Катя поспешно дохлебала, встала.

Прошли в горницу.

— Ты что?

Пашка смотрел на Катерину. Стоит — молодая еще, а уже намучилась, накричалась на своем веку, устала.

— Так… зашел попроведать.

Пашка натянуто улыбнулся, стало жалко Катьку.

— Опять в командировку, что ль? — Катерина угасла.

— Ага.

— Надолго?

— Да нет.

— Ну, садись.

Пашка присел на крашеный табурет.

— Как живешь-то? — спросил он.

— Ничего. Какая моя жизнь? Кукую. — Катерина тоже присела на высокую свою кровать, невесело задумалась.

— Не сошлась с мужем-то?

— Не сошлась.

— Что он сейчас делает-то?

— Пьет. Что ему еще делать.

— Мдэ… На танцы пойдем вечером?

Катька удивленно посмотрела на Пашку, усмехнулась.

— Легко вам, ребятам: тридцать лет — вы все еще по танцулькам бегаете. Даже завидки берут.

— А тебе кто запрещает?

— Куда же я на танцы попрусь? Ты что? Совесть-то есть у меня?

— Серость, — сказал Пашка.

— Серость или нет, а мои танцы кончились, Паша.

— Ну, тогда я в гости приду попозже. Мм?

— Зачем?

— В гости!

— Как же ты придешь? Что, я одна, что ль?

— А чего они тебе? Ты на них — ноль внима-

ния.

— Ноль внимания…

— Ну, выйди тогда. В садик. Попозже. Мм?

— А для чего?

Пашка ответил не сразу. Действительно — для чего?

— А я откуда знаю? Так просто. Тоскливо ж тебе одной-то. И мне тоскливо.

— Тоскливо, верно.

— Ну и вот!

— Думаешь, нам веселее будет? Вдвоем?

— Не знаю. Не ручаюсь.

— Нет, не будет нам веселее. Так это… самообман. Не будет веселее.

— Ну, ты сильно-то не унывай.

— Я и не унываю.

— Взяла бы да снова замуж вышла, раз такое дело.

Катерина усмехнулась.

— Бери. Пойду.

— Вот и выходи. Сегодня потолкуем. — Пашка сам не ждал, что так брякнет.

— Перестань ты, болтало! — рассердилась Катерина. — Зачем пришел-то?

— Некультурная ты, Катерина. Темнота.

— Ох, батюшки!.. Давно культурным-то таким

стал?

— Что это, например, такое? — Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких. — Для чего, спрашивается? Для счастья? Или олень вот этот… — Пашка презрительно прищурился на оленя. (Олень, кстати, ему нравился.) — Это же… пошлость! В горнице как в магазине. Мой тебе совет: выкинь все это, пока не поздно.

Катерина удивленно слушала Пашку. А Пашку неудержимо повело.

— Вы сами, Катька, виноваты во всем: обвиняете ребят, что они за городскими начинают приударять, а вас забывают. А нет, чтобы подумать: а почему так? А потому, что городские интереснее вас. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская — она, может, в десять раз красивше ее, а как нарядится в какой-нибудь малахай — черт не черт и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе да пройтись по улице весело, станцевать, спеть… Нет, вы лучше будете семечки проклятые лузгать да сплетничать друг про дружку. Ммх, эти сплетни!.. — Пашка, стиснув зубы, крутнул головой. — Бросать это надо к чертовой матери — эти сплетни. Ты делай вид, что ничего не знаешь. Не твое дело, и все. А то ведь пойдешь с иной, и вот она начинает тебе

про своих же подружек: ля-ля-ля… Все плохие, она одна хорошая. Бросать надо эту моду.

— Ты что, с цепи сорвался? — спросила Катерина.

— Ну вот, пожалуйста, сразу по лбу: «С цепи сорвался?» А ты бы сейчас спросила меня с улыбкой: «В чем дело, Павлик?»

— Пошел к дьяволу!.. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно.

— А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала: голову кверху, грудь вперед. И улыбайся. Но громко не хохочи — это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нету к тебе подходить.

— Ну и не подходи. Я и не прошу никого, чтобы ко мне подходили, пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты зачем приперся? Тебе чего от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю! А туда же — «некультурная». Так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то?

— Никакого сдвига в человеке! — горько воскликнул Пашка. — Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю.

Ничего мне от тебя не надо!

— Я тебе тоже на полном серьезе: пошел к черту! Культурный нашелся. Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Культурный — по чужим бабам шастать. Наверно, уж весь Чуйский тракт охватил?

— Я от тоски, — возразил Пашка. — Я нигде не могу идеал найти.

— Вот когда найдешь, тогда и читай ей свои нотации. По воскресеньям. А мне они не нужны. Ясно? Выметывайся отсюда, культурный! Чего ты с некультурными разговариваешь?

— Знаешь, как я вас всех называю? — сказал Пашка. — «Дайте мужа Анне Заккео». Мне вас всех жалко, дурочка.

— От дурачка слышу. Уходи, а то огрею чем-нибудь по загривку-то — враз жалеть перестанешь.

— Эхх, — вздохнул Пашка. И вышел.

Над деревней, в глухом теплом воздухе, висел несуетливый вечерний гомон: мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо всхлипнула гармонь и смолкла.

Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом на постой.

Хозяин и Кондрат спали уже — «нафилософ-

ствовались» давеча.

Хозяйка ворожила на картах. И ее тоже беспокоила судьба сынов, которые разъехались по белому свету.

— Что там слышно? Вы вот в разных местах бываете — война-то будет или нет? — спросила она.

— Не будет, — уверенно сказал Пашка. — Не дадут.

— Господи, хоть бы не было. В народе тоже не слышно. А то ведь перед войной-то всякие явления бывают.

— Какие явления? — полюбопытствовал Пашка, попивая молоко.

— Вот перед той-то войной — явление было.

— Какое?

— А вот едет шофер сверху откуда-то, с гор, и подъезжает к одному месту… А место это — как выезжать в Долину Свободы…

— Знаю, — сказал Пашка.

— Вот. Выезжает из лесочка-то, глянь: впереди баба стоит. Голая. Подняла руку. Шофер маленько оробел. Останавливается. Подходит она к нему и говорит: «На, говорит, тебе двадцать рублей…»

— По новым деньгам, что ли? — встрял Пашка.

— По каким «по новым»? Дело-то до войны было, как раз перед войной.

— Так.

— «…На, говорит, тебе двадцать рублей и купи мне на платье белой материи. Когда, говорит, поедешь назад, я тебя здесь встречу. Только смотри, говорит, купи — вишь, я голая вся». Ну, шофер что, взял. «Ладно, говорит, куплю». — «Только смотри — не забудь», — она-то ему еще раз. И ушла. В лес. Едет шофер. Приехал на свою базу какую-то…

— На автобазу.

— Ну. И расскажи этот случай товарищам своим. Те его — на смех. «Пойдем, говорят, пропьем лучше эти деньги». Тот шофер-то махнул рукой, пошел и пропил эти деньги. Да. А когда назад-то ехать стал — струсил. «Боюсь, говорит, хоть убейте». Пошел к жене, рассказал ей все. Та — ругать его. Ну, поругала, поругала, а деньги дала. Да. Купил шофер белую материю, опять заехал на свою базу. Ну, двое поехали с ним — чтобы убедиться: есть такая баба или нет. Едут. Не доезжая до того места с версту, эти два шофера поснули убойным сном. Спят, и все. Уж тот шофер, который материю-то вез, толкал их, толкал их, бил даже — ничего не помогает, спят. Делать нечего — надо ехать. Поехал. Доезжает до того места — баба ждет его. «Купил?» — спрашивает. «Купил». — «Спасибо». Взяла материю. А потом

поглядела на шофера и спрашивает: «Ты зачем же мои деньги-то пропил?» Тот молчит. Она так тихонечко засмеялась и говорит: «Ну ладно, они ведь деньги-то не мои, а ваши. А вот этих зачем с собой взял? — показывает на двух сонных. — Испугался?» Опять засмеялась и ушла в лес. Отъехал шофер с полверсты, те двое проснулись…

Пашка крепко спит.

— Спит, — сказала старуха. — Рассказывай им.

…Едет Пашка по тракту. Подъезжает он к тому месту, где тракт выходит из гор в Долину Свободы, глядь: впереди стоит какая-то женщина. Руку подняла. А сама вся в белом, в какой-то простыне. Остановился он. Подходит женщина — а это Настя Платонова.

— Здравствуй, Павлик.

Пашка очень удивился.

— Ты чего тут?

А она ему так грустно-грустно:

— Да вот тебя жду.

— Что, опять с инженером поругались?

— Нет, Павлик. На вот тебе двадцать рублей, купи мне белой материи на платье — вишь, я какая. — А сама смотрит, смотрит на Пашку.

— А зачем тебе белое-то? Ты что, замуж вы…

— Павел! А Павел, — будит старушка Пашку. —

Павел!..

Пашка проснулся.

— Я что, заснул, что ли?

— Заснул.

— Ох ты… фу! А чем кончилась история-то?

— А-а, интересно?

— Привез он ей материи-то?

— Привез. Привез, отдал ей, а она спрашивает: «Зачем же ты, говорит, мои деньги-то пропил?..»

— Так откуда она узнала, что он деньги-то пропил?

— Так разве ж это простая баба была! — изумилась старушка. — Это же смерть по земле ходила — саван себе искала. Вот вскоре после этого и война началась. Она, она, матушка, ходила…

Пашка откровенно зевнул.

— Ну-ка, ложись спать, — спохватилась старушка. — Вам завтра вставать рано.

Пашка лег и сразу уснул.

И опять звонкое синее утро.

Выехали с проселка на тракт две машины — Кондрат и Пашка.

Кондрат — впереди.

Едут.

Кондрат задумчив.

Пашка не выспался, усиленно курит, чтобы

прогнать дремоту.

Впереди, близ дороги, большой серый валун. На нем что-то написано.

Поравнявшись с камнем, Кондрат остановился. Пашка — тоже.

Вышли из кабин, прихватив каждый по бутылке пива из-под сидений.

Пошли к камню.

На камне написано: «Тут погиб Иван Перетягин. 4.5.62 г.».

Кондрат и Пашка сели на камень, раскрыли бутылки (вокруг камня много валяется бутылок из-под пива), отпили.

— Сколько ему лет было? — спросил Пашка.

— Ивану? Лет тридцать пять — тридцать восемь. Хороший был парень.

Пауза.

Еще отпили из бутылки.

Молчат. Долго молчат. Думают.

— Слышь, Павел, — сказал Кондрат, — помнишь, ты говорил насчет этой…

— Тетки Анисьи?

— Ну.

— Надумал?

— Черт ее знает… — Кондрат мучительно сморщился. — Не знаю. Колебаюсь.

— А чего тут колебаться? Сейчас заедем к ней и потолкуем. Сколько бобылем-то жить!

— Надоело, вообще-то…

— А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, с ходу фотографируюсь. А у тетки Анисьи и домик хороший, и хозяйство. Я к вам заезжать буду, в баню с тобой ходить будем, пузырек раздавим после баньки… Благодать!

Кондрат задумчиво, можно сказать, мечтательно улыбается. Но сдержанно.

— Ты хорошо ее знаешь?

— Два года к ней заезжаю.

— А вдруг она скажет: «Вы что!»

— Да она мне все уши прожужжала: «Найди, говорит, мне какого-нибудь пожилого одинокого, пускай, мол, здесь живет… Вдвоем-то легче».

— Да?

— Конечно! Чего тут колебаться? Она баба умная, хозяйственная… Ты там будешь сыт, пьян и нос в табаке.

— Ну, я же тоже не с голыми руками приду. Мы ж зарабатываем как-никак. Потом… на книжке у меня малость имеется… Так что…

— Вы будете как у Христа за пазухой жить!

— Черт ее… — Кондрат опять мечтательно улыбнулся. — Охота, действительно, так вот при-

ехать, натопить баню, попариться как следует. Шибко уж надоело по этим квартирам.

— Что ты! — воскликнул Пашка, поддакивая.

— Разбередил мне вчера душу этот кум, язви его. В деревне ведь… это… хорошо! Встанешь чуть свет — еще петухи не орали, идешь на речку… Тихо. Спят все. А ты идешь и думаешь: «Спите, спите — проспите все царство небесное: красота ж вокруг!» А от речки туман подымается. Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку…

— Можно с мотором!

— Можно, ага.

— Я бы приехал к тебе в гости, мы бы заплыли с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли, а вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху, пузырек раздавили…

Кондрат улыбается.

— Ага, я тоже люблю на островах. Ночь, тихо, а ты лежишь, думаешь об чем-нибудь. Думать шибко люблю.

— А костер потрескивает себе, угольки отскакивают. Я тоже думать люблю.

— Речка шумит в камушках.

— Можно баб с собой взять!

— Нет, баб лучше не надо, они воды боятся, визжат, — возразил Кондрат.

— Вообще — правильно, — легко согласился Пашка. — И насчет пузырька — не дадут.

Тетка Анисья, женщина лет под пятьдесят, сухая, жилистая, с молодыми хитрыми глазами, беспокойная. Завидев из окна гостей, моментально подмахнула на стол белую камчатную скатерть, крутнулась по избе — одернула, поправила, подвинула… И села к столу как ни в чем не бывало. Сказала сама себе:

— Пашка-то… правда, однако, кого-то привез.

Пашка вошел солидный.

— Здорово ночевала, тетка Анисья! — сказал.

— Здрасте, — скромно буркнул Кондрат.

— Здрасте, здрасте, — приветливо откликнулась тетка Анисья, а сама ненароком зыркнула на Кондрата. — Давно чего-то не заезжал, Паша.

— Не случалось все… кхм! Вот познакомься, тетка Анисья. Это мой товарищ — Кондрат Степанович.

— Мгм. — Тетка Анисья кивнула головкой и собрала губы в комочек. (Очень приятно, мол.) А Кондрат осторожно кашлянул в ладонь.

— Вот, значит, приехали мы… — продолжал Пашка, но тетка Анисья и Кондрат оба испуганно взглянули на него. Пашка понял, что слишком скоро погнал дело… — Заехали, значит, к тебе

отдохнуть малость, — сполз Пашка с торжественного тона.

— Милости просим, милости просим, — застрекотала Анисья. — Может, чайку?

— Можно, — разрешил Пашка.

Анисья начала ставить самовар.

Пашка вопросительно поглядел на Кондрата. Тот страдальчески сморщился. Пашка не понял: отчего? Оттого ли, что не нравится «невеста», или оттого, что он неумело взялся за дело?

— Как живешь, тетка Анисья?

— Живем, Паша… ничего вроде бы.

— Одной-то небось тяжело? — издалека начал Пашка.

— Хе-хе, — неловко посмеялась Анисья. — Знамо дело.

Кондрат опять сморщился.

Пашка недоуменно пожал плечами. Даже губами спросил: «Что?»

Кондрат безнадежно махнул рукой. Пашка рассердился: как ни начни, все не нравится.

— Самогон есть, тетка Анисья? — пошел он напрямик.

Кондрат удовлетворенно кивнул головой.

— Да вроде был где-то. Вы с машинами-то… ничего?

— Ничего. Мы по маленькой.

Анисья вышла в сенцы. И, как по команде, сразу торопливо заговорили Кондрат и Пашка.

— В чем дело, дядя Кондрат?

— Что ж ты сразу наобум Лазаря начинаешь? Ты… давай посидим, по…

— Да чего с ней сидеть-то?

— Тьфу!.. Ну кто же так делает, Павел? Ты… давай посидим…

— А вообще-то, как она тебе? Ни…

Вошла Анисья.

— Ведро-то какое стоит! Благодать Господня. В огороде так и прет, так и прет все. — Анисья поставила на стол графин с самогоном.

— Прет, говоришь? — переспросил Пашка, трогая графин.

— Прет, прямо сердце радуется.

— Садись, дядя Кондрат.

— Садитесь, садитесь… Давайте к столу. У меня, правда, на стол-то шибко нечего выставить.

— Ничего-о, — сказал Кондрат. — Что мы сюда, пировать приехали?

— Счас огурчиков вам порежу, капустки… — хлопотала Анисья, сама все нет-нет да глянет на Кондрата.

— Значит, хорошо живешь, тетя Анисья? —

опять спросил Пашка. — Здоровьишко как?

— Бог милует, Паша.

— Самое главное. Так… Ну что, дядя Кондрат?.. Сфотографируем по стаканчику?

— По стаканчику — это можно, — рассудил Кондрат.

Анисья поставила на стол огурцы, помидоры, нарезала ветчины. Присела с краешку сама.

— Тебе налить, тетка Анисья?

— Немного!.. С наперсток!

Пашка разлил по стаканам.

— Ну… радехоньки будем!

Выпили.

Некоторое время мужики смачно хрустели огурцами, рвали зубами розоватое сало. Молчали.

— Замуж-то собираешься выходить, тетка Анисья? — ляпнул Пашка.

Анисья даже слегка покраснела.

— Господи-батюшки!.. Да ты что это, Павел? Ты с чего это взял-то?

Теперь Пашка очень удивился.

— Привет! Так ты же сама говорила мне!

Кондрат готов был сквозь землю провалиться.

— Ну и балаболка ты, Павел, — сказал он с укоризной. — Ешь лучше.

— Жельтмены! — воскликнул Пашка. — Я вас не понимаю! Мы же зачем приехали?

— Тьфу! — Кондрат горько сморщился и растерянно поглядел на Анисью.

Анисье тоже было не по себе, но она женским хитрым умом своим нашлась, как вывернуться из того трудного положения, куда их загнал Пашка. Она глянула в окно и вдруг всплеснула руками.

— Матушки мои! Свиньи-то! Свиньи-то! В огороде! — И вылетела из избы.

— Все! — Кондрат встал и бросил на стол вилку. — Поехали! Не могу больше: со стыда лопну. Ты что же это со мной делаешь-то?

— Спокойно, дядя Кондрат! — невозмутимо сказал Пашка. — Я в этих делах опытный. Если мы разведем туг канитель, то будем три дня ездить и ничего не добьемся. Надо с ходу делать нокаут. Понял?

— Да что же ты меня позоришь-то так на старости лет! Вить мне не тридцать, чтобы нокауты твои дурацкие делать.

— Ничего, — успокоил Пашка, — сперва неловко, потом пройдет. Спокойствие, только спокойствие. Нам нельзя ждать милости от природы. Садись. Давай еще по махонькой. Что тут позорного? Ты говоришь «позор». Мы же не воруем.

— По-другому как-то делают люди… Язви ее, прямо хоть со стула падай.

— Глянется она тебе?

— Да ничего вроде… — Кондрат сел опять к столу. — Живая вроде бабенка.

— Все! — Пашка сделал жест рукой. — Наша будет!

— Но ты все-таки полегче, Павел, ну тя к шутам.

— А ты посмеивайся надо мной, — посоветовал Пашка. — Вроде бы я — дурачок. А с дурачка взятки гладки.

— Ну а как она-то? Как думаешь? Может, возьмет потом да скажет: «Вы что?»

— О-о, мне эти фраера! — изумился Пашка. — Да ты видишь, она с тебя глаз не спускает.

— Ты хаханьки тут не разводи! — разозлился Кондрат. — Тебя дело спрашивают.

— А что ты спрашиваешь, я никак не пойму?

— Вот мы ей счас скажем, что… это… ну, мол, согласная? А она возьмет да скажет: «Вы что». Она же сказала тебе, что, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собиралась?

— О-о, — застонал Пашка, — о наивняк! Ты же совсем не знаешь женщин! Женщины — это сплошной кошмар. Давай, быстро хлопнули, по-

том, пока она выгоняет свиней, я тебе прочитаю лекцию про женщин.

— Хватит «хлопать», а то нахлопаешься.

— Начнем со свиней, — заговорил Пашка, встал из-за стола и стал прохаживаться по избе — ему так легче было подыскивать нужные слова. — Вот она сейчас побежала выгонять свиней. Так?

— Ну.

— Вопрос: каких свиней?

— Не выпендривайся, Пашка.

— Нет, нет, каких свиней?

— Ну… обыкновенных… белых. Грязные они бывают… Пошел ты к черту! Дурака ломает тут…

— Стопинг! Мы пришли к главному: она побежала выгонять свиней, а… что?

— Что?

— Вопрос: она побежала…

— Тьфу! Трепач! Пирамидон проклятый!

— Внимание! Женщина побежала выгонять свиней из огорода, а никаких свиней нету! — Пашка торжественно поднял руку. — Что и требовалось доказать. Она притворилась, что в огороде свиньи. Значит, она притворилась, когда сказала: «Что ты, Паша, я не собираюсь замуж». Потому что она мне самому говорила: «Найди, — мол, — какого-нибудь пожилого». А когда я, как

жельтмен, привез ей пожилого, она начинает ломаться, потому что она — женщина, хоть и старая. Женщина — это стартер: когда-нибудь да подведет.

— Ни хрена ты сам не знаешь — трепешься только.

— Я? Не знаю?

— Не знаешь.

— Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу: «Мужчина и женщина». И там есть целая глава: «Отношения полов среди отдельных наций». И там написано, что даже индусы, например…

Вошла Анисья. Пожаловалась:

— Ограда вся прохудилась — свиньи так и прут, так и прут в огород. Наказание Господнее.

Пашка перестал ходить, постоял, подумал, что-то решил.

— Тетка Анисья…

— Аиньки, Паша.

— Выйдем с тобой на пару слов…

— Хе-хе, — посмеялась Анисья, — чудной ты парень, ей-Богу. Ну пойдем, пойдем…

Вышли. Несколько минут их не было. Кондрат сидел неподвижно за столом, смотрел в одну

точку. Вошел Пашка.

— Дядя Кондрат, мы в полном порядке. Первое: она, конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу видно. Второе: я сейчас поеду, а вы останетесь тут… Потолкуйте. В совхозе я скажу, что ты стал на дороге — подшипники меняешь. К вечеру, мол, будет. Вечером ты приедешь. Третье: налей мне семьдесят пять грамм, и я поеду.

— Ты ничего тут не… это… не придумал? — спросил Кондрат.

— Нет, нет.

— Что-то мне… страшновато, Павел, — признался Кондрат. — Войдет, а чего я ей скажу?

— Она сама чего-нибудь скажет. Наливай ноль семьдесят пять килограмма…

— Пить хватит — поедешь.

Пашка подумал и согласился.

— Правильно. Мы лучше в совхозе наверстаем.

— Боязно мне, Пашка, — опять сказал Кондрат, — не по себе как-то.

— В общем, я поехал. Гудбай! — Пашка решительно вышел.

Через минуту вошла Анисья с тарелкой соленых помидоров.

— Ведро-то какое стоит! Благодать Господня! — заговорила она.

— Да-а, — согласился Кондрат. — Погода прямо как на заказ.

На хмелесовхозе, куда приехал Пашка, он сперва потрепался с бабами, собиравшими хмель… Потом нашел директора.

— А где другой? — спросил тот, заглянув в Пашкину путевку.

— У него подшипники поплавились — меняет, — сказал Пашка.

— А ты шибко устал?

— Нет. А что?

— Надо бы поехать на нефтебазу — горючее получить. Я свои машины все раскидал, а у нас горючее кончается…

— Сфотографировано, — сказал Пашка.

— Что? — не понял директор.

— Будет сделано.

День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пашка, пока доехал до хранилища, порядком умаялся.

Бензохранилище — целый городок, строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектара в два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны — цилиндрические, квадратные.

Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы.

И тут — никто потом не мог сказать, как это случилось, почему, — низенькую контору озарил вдруг яркий свет.

В конторе было человек шесть шоферов, две девушки за столами и толстый мужчина в очках (тоже сидел за столом). Он и оформлял бумаги.

Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице:

— Пожар!

Шарахнули из конторы…

Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко.

Люди бежали от машин.

Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек (тот, который оформлял бумаги), отбежав немного, остановился.

— Давайте брезент! Э-э!.. — заорал он. — Куда вы?! Успеем же!.. Э-э!

— Бежи — сейчас рванет! Бежи, дура толстая! — крикнул кто-то из шоферов.

Несколько человек остановились. Остановился и Пашка.

— Сча-ас… Ох и будет! — послышался сзади

чей-то голос.

— Добра пропадет сколько! — ответил другой.

Кто-то заматерился. Все ждали.

— Давайте брезент! — непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.

— Уходи! — опять крикнули ему. — Вот ишак. Что тут брезентом сделаешь? «Брезент»…

Пашку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. Видел, как впереди, над машиной, огромным винтом свивается белое пламя.

Не помнил Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, «воткнул» скорость — человеческий механизм сработал точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерн и от других машин с горючим.

…Река была в полукилометре от хранилища! Пашка правил туда, к реке.

Машина летела по дороге, ревела… Горящие бочки грохотали в кузове, Пашка закусил до крови губу, почти лег на штурвал…

В палате, куда попал Пашка, лежало еще человек семь. Большинство лежало, задрав кверху загипсованные ноги.

Пашка тоже лежал, задрав кверху левую ногу.

Около него сидел тот самый человек с нефтебазы, который предлагал брезентом погасить пламя.

— Сколько лежать-то придется? — спросил толстый.

— Не знаю. С месяц, наверно, — ответил Пашка.

— Перелом бедренной кости? — спросил один белобрысый паренек (он лежал, задрав сразу обе ноги. Лежал, видно, долго, озверел и был каждой бочке затычка). — А сто суток не хочешь? Быстрые все какие…

— Ну, привет тебе от наших ребят, — продолжал толстый. — Хотели прийти сюда — не пускают. Меня как профорга и то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали… — Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. — Из газеты приходили, расспрашивали про тебя… А мы и знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда.

— Это ничего, — сказал Пашка самодовольно. — Я им тут речь скажу.

— «Речь»? Хэх!.. Ну, ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни — я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай.

— Ничего.

Профорг пожал Пашке руку, сказал всем «до свидания» и ушел.

— Ты что, герой, что ли? — спросил Пашку один «ходячий», когда за профоргом закрылась дверь.

Пашка некоторое время молчал.

— А вы разве ничего не слышали? — спросил он серьезно. — Должны же были по радио передавать.

— У нас наушники не работают. — Белобрысый щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья.

Пашка еще немного помолчал. И ляпнул:

— Меня же на Луну запускали.

У всех вытянулись лица, белобрысый даже рот приоткрыл.

— Нет, серьезно?

— Конечно. Кха! — Пашка смотрел в потолок с таким видом, как будто он на спор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится, — как будто он нисколько не сомневался в этом.

— Врешь ведь? — негромко сказал белобрысый.

— Не веришь — не верь, — сказал Пашка. — Какой мне смысл врать?

— Ну и как же ты?

— Долетел до половины, и горючего не хватило. Я прыгнул. И ногу вот сломал — неточно приземлился.

Первым очнулся человек с «самолетом».

— Вот это загнул! У меня ажник дыхание остановилось.

— Трепло, — сказал белобрысый разочарованно. — Я думал — правда.

— А как это ты на парашюте летел, если там воздуха нету? — спросил «ходячий».

— Затяжным.

— А кто это к тебе приходил сейчас? — спросил человек с «самолетом». — По-моему, я его где-то...

Тут в палату вошли старичок доктор с сестрами и с ними молодая изящная женщина в брюках, маленькая, в громадном свитере — «странная и прекрасная».

Доктор подвел девушку к Пашке.

— Вот ваш герой. Прошу любить.

— Вы будете товарищ Колокольников?

— Я, — ответил Пашка и попытался привстать.

— Лежите, лежите, что вы! — воскликнула девушка, подходя к Пашкиной койке. — Я вот здесь присяду немножко. Можно?

— Боже мой! — сказал Пашка и опять попытал-

ся сдвинуться на койке.

Девушка села на краешек белой плоской койки.

— Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.

Белобрысый перестал хохотать, смотря то на Пашку, то на девушку.

— Это можно, — сказал Пашка и мельком глянул на белобрысого.

Тот начал теперь икать.

— Как вы себя чувствуете? — спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот.

— Железно, — сказал Пашка.

Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на него. Пашка тоже улыбнулся и подмигнул ей. Девушка опустила глаза к блокноту.

— Для начала… такие… формальные вопросы: откуда родом, сколько лет, где учились…

— Значит, так… — начал Пашка, закуривая. — А потом я речь скажу. Ладно?

— Речь?

— Да.

— Ну… хорошо… Я могу потом записать. В другой раз.

— Значит, так: родом я из Суртайки — семьдесят пять километров отсюда. А вы сами откуда?

Девушка весело посмотрела на Пашку, на других больных; все, притихнув, смотрели на нее и на Пашку, слушали. Белобрысый икал.

— Я из Ленинграда. А что?

— Видите ли, в чем дело, — заговорил Пашка, — я вам могу сказать следующее…

Белобрысый неудержимо икал.

— Выпей воды! — обозлился Пашка.

— Я только что пил — не помогает, — сказал белобрысый, сконфузившись.

— Значит, так… — продолжал Пашка, затягиваясь папироской. — О чем мы с вами говорили?

— Где вы учились?

— Я волнуюсь, — сказал Пашка (ему не хотелось говорить, что он окончил только пять классов). — Мне трудно говорить.

— Вот уж никогда бы не думала! — воскликнула девушка. — Неужели вести горящую машину легче?

— Видите ли… — опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверчиво спросил: — Вообще-то, в чем дело? Вы только это не пишите. Я что, на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет перед людями. «Вон, — скажут, — герой пошел!»

Народ же знаете какой… Или — ничего, можно?

Девушка тоже засмеялась… А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Пашку.

— Нет, это ничего, можно.

Пашка приободрился.

— Вы замужем? — спросил он.

Девушка растерялась.

— Нет… А, собственно, зачем вам это?

— Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.

— Что я, виноват, что ли? — сказал белобрысый и опять икнул.

Девушку Пашкино предложение поставило в тупик.

— Понимаете… я должна этот материал дать сегодня. А завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки. Так?

— Так. — Пашка скис.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе.

— Я понимаю.

— Где вы учились?

— В школе.

— Где, в Суртайке же?

— Так точно.

— Сколько классов кончили?

Пашка строго посмотрел на девушку.

— Пять. Неженатый. Не судился еще. Все?

— Что вас заставило броситься к горящей машине?

— Дурость.

Девушка посмотрела на Пашку.

— Конечно. Я же мог подорваться, — пояснил тот.

Девушка задумалась.

— Хорошо, я завтра приду к вам, — сказала она. — Только я не знаю... завтра приемный день?

— Приемный день в пятницу, — подсказал «ходячий».

— А мы сделаем! — напористо заговорил Пашка. — Тут доктор добрый такой старик, я его попрошу, он сделает. А? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет.

— Приду. — Девушка улыбнулась. — Обязательно приду. Принести чего-нибудь?

— Ничего не надо! Меня профсоюз будет кормить.

— Тут хорошо кормят, — вставил белобры-

сый. — Я уж на что — вон какой, и то мне хватает.

— Я какую-нибудь книжку интересную принесу.

— Книжку — это да, это можно. Желательно про любовь.

— Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?

Пашка мучительно задумался.

— Не знаю, — сказал он. И виновато посмотрел на девушку. — Вы сами напишите что-нибудь, вы же умеете. Что-нибудь такое…

Пашка покрутил растопыренными пальцами.

— Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше — на цистерны. Да?

— Конечно!

Девушка записала.

— А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты приедешь? — спросил вдруг Пашка.

— Я как-нибудь сделаю.

В палату вошел доктор.

— Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть? — спросил он.

— Все, доктор, ухожу. Еще два вопроса… Вас зовут Павлом?

— Колокольников Павел Егорыч. — Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза. — Приди, а?

— Приду. — Девушка ободряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула: — Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?

— Хорошо. — Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку.

— До свиданья. Поправляйтесь. До свиданья, товарищи!

Девушку все проводили добрыми глазами.

Доктор подошел к Пашке.

— Как дела, герой?

— Лучше всех.

— Дай-ка твою ногу.

— Доктор, пусть она придет завтра, — попросил Пашка.

— Кто? — спросил доктор. — Корреспондентка? Пусть приходит. Влюбился, что ли?

— Не я, а она в меня.

Смешливый доктор опять засмеялся.

— Ну, ну… Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.

Он посмотрел Пашкину ногу и ушел в другую палату.

— Думаешь, она придет? — спросил белобрысый Пашку.

— Придет, — уверенно сказал Пашка. — За мной не такие бегали.

— Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, — начал рассказывать белобрысый, — так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему три часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил. Я, говорит, не пьющий, то-се — начал вилять.

Пашка смотрел в потолок, не слушал белобрысого. Думал о чем-то. Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.

— Слышь, друг! — окликнул его белобрысый.

— Спит, — сказал человек с «самолетом». — Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил.

— Шебутной парень! — похвалил белобрысый. — В армии с такими хорошо.

Пашка долго лежал с открытыми глазами, потом действительно заснул. И приснился ему такой сон.

Как будто он генерал. И входит он в ту самую палату, где лежал он сам... Но только в палате лежат женщины. Тут Катя Лизунова, корреспондентка, Маша-птичница, городская женщина,

женщина с нефтебазы и даже тетка Анисья… И свита вокруг Пашки — тоже из женщин.

Вошел Пашка и громко поздоровался.

Ему дружно ответили:

— Здравствуйте, товарищ генерал!

— Почему я не слышу аплодисментов? — тихо, но строго спросил Пашка-генерал у свиты. Одна из свиты угодливо пояснила:

— Дамская палата…

И она же попыталась надеть на Пашку халат.

— Не нужно, — сказал Пашка, — я стерильный.

И началось стремительное шествие генерала по палате — обход.

Первая — Катя Лизунова.

— Что болит? — спросил Пашка.

— Сердце.

— Желудочек?

Катя смотрит на Пашку как на дурака.

— Сердце!

Пашка повернулся к свите.

— Считается, что генерал — ни бум-бум в медицине. — И снисходительно пояснил Кате: — Сердце тоже имеет несколько желудочков. Ма-аленьких.

И дальше. Дальше — корреспондентка, «странная и прекрасная».

— Что? — ласково спросил Пашка.

— Сердце.

— Давно?

— С семнадцати лет.

— Ну, ничего, ничего…

Пашка двинулся дальше. Маша-птичница.

— Тоже сердце? — изумился Пашка.

— Сердце.

— Кошмар.

Пашка идет дальше.

Городская женщина.

Пашка демонстративно прошел мимо.

Тетя Анисья. Поет.

Пашка остановился над ней.

— И у тебя сердце?

— А что же я, хуже других, что ли? — обиделась Анисья. — Смешной ты, Павел: как напялит человек мундир, так начинает корчить из себя…

— Выписать ей пирамидону! — приказал Пашка. — Пятьсот грамм. Трибуну.

Принесли трибуну. Пашка взошел на нее.

— Я вам скажу небольшую речь, — начал он, но обнаружил непорядок. — Где графин?!

— Несут, товарищ генерал.

— Ну, что?! — Пашка обращался к женщинам, лежащим в палате. — Допрыгались?! Докати-

лись?! Доскакались?!.

...И тут засмеялся белобрысый. Пашка поднял голову.

— Ты чего?

Белобрысый все смеялся.

— Это он во сне, — пояснил один пожилой больной. Все другие уже спали. Была ночь.

— Вот жеребец, — возмутился Пашка. — Здесь же больница все же.

Он лег и крепко зажмурился... И снова он на трибуне.

— На чем я остановился? — спросил он свиту.

— Вы сказали, что они доскакались...

— Куда доскакались? — с начальственным раздражением переспросил Пашка. — Работнички! Только форсить умеете!

И опять его разбудил смех белобрысого.

— Вот паразит, — сказал Пашка, поднимаясь. — Что он ржет-то всю ночь?

— Выздоравливает он, — опять сказал пожилой больной.

— Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его, а? Сказать, что у него дом сгорел — ему тогда не до смеха будет.

— Не надо, пусть смеется.

Пашка опять крепко зажмурился, но больше не

получалось, не спалось.

— А вы чего не спите? — спросил он пожилого больного.

— Так… не хочется.

Помолчали.

— Вот вы принадлежите к интеллигенции, — заговорил Пашка.

— Ну, допустим.

— Книжек, наверно, много прочитали. Скажите: есть на свете счастливые люди?

— Есть.

— Нет, чтобы совсем счастливые.

— Есть.

— А я что-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так…

— Вот хочешь, я прочитаю тебе…

— Что, письмо?

— Нет. — Больной взял с тумбочки ученическую тетрадку. — Сочинение одного молодого человека…

— Ну-ка, ну-ка… — Пашка приготовился слушать.

— «С утра мы пошли с пацанами в лес, — начал читать больной. — Все были почти из нашего четвертого „б“. Пошли мы сорок зорить. Ну, назорили яичек, испекли и съели. Потом Колька Докучаев

рассказывал, как они волка с отцом видали. Мы маленько струсили. В лесу было хорошо. А потом мы хохотали, как Серега Зиновьев из второго „а“ петухом пел. В лесу было шибко хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько всыпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня: „Хорошо было в лесу?“ Я сказал: „Ох, и хорошо!“ Папка засмеялся. Вот и все. Больше я не знаю, чего».

— А для чего это вы? — спросил Пашка.

— Это писал счастливый человек.

— Так какое же туг счастье-то? — изумился Пашка.

— Самое обыкновенное: человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать. И прощать умеет. И делает это от души. Это — счастье.

— Так он же маленький еще!

— Ну, найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть.

— Каким?

— Добрым. Простым. Честным. Счастливых много… Ты тоже счастливый, только… учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно… А знаешь мало.

— Когда же мне учиться-то? Я же работаю.

— Вот поэтому и надо учиться.

— А вы — учитель, да?

— Учитель.

— Значит, вы счастливый, если вы учите?

— Наверно. Позови-ка сестру.

— Что, плохо?

— Нет, просто устал.

— Лиля Александровна! — позвал Пашка.

Вошла сестра и сделала учителю укол.

— Ну, вот теперь уснем, — сказал тот и выключил свет.

Пашка долго еще лежал с открытыми глазами, думал о чем-то. А как только стал засыпать, услышал голос Насти:

— Павел, иди ко мне.

...И опять снится Пашке сон:

Ждет его Настя на том самом месте, где встречала его во сне в первый раз.

— Здравствуй, Павел.

— Здравствуй.

— Как живешь?

— Ничего.

— Идеал-то не нашел еще?

Пашка усмехнулся.

— Нет.

— Помнишь сказку? — спросила вдруг Настя. — Бабушка тебе рассказывала…

— Про голую бабу, что ли?

— Да.

— Помню.

— Так вот, ты не верь: это не смерть была, это любовь по земле ходит.

— Как это?

— Любовь. Ходит по земле.

— А чего она ходит?

— Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали.

— Она, что, тоже голая?

— Она красивая-красивая.

— Хоть бы разок увидеть ее.

— Увидишь. Она придет к тебе.

— А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь ждать, что придет, а он возьмет и не придет. Так и проживешь дураком. Правильно я рассуждаю?

— Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь — это, брат, тоже школа, только лучше.

— И опять: если я буду сидеть и ждать…

— Зачем же ждать, — перебивает его Настя. — Надо искать. Надо все время искать, Павел.

— Так вот я ищу. Но я же хочу идеал!

Опять засмеялся белобрысый. Пашка проснулся. Утро. Еще спят все. Пашка огляделся по палате. И вдруг ему показалось…

— Братцы! — заорал он.

Повскакали больные.

— Ты чего, Пашка? — спросил белобрысый.

Пашка показал на учителя, который лежит недвижно.

— Няня! — рявкнул белобрысый.

Учитель приподнялся.

— Что такое? В чем дело?

Все смотрят на него.

— Что случилось-то?

Пашка негромко засмеялся.

— А мне показалось, ты помер, — сказал он простодушно.

Учитель досадливо сморщился.

— Первую ночь спокойно уснул… Надо же!

Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у него легко.

— Значит, будем жить, — сказал он, отвечая своим мыслям.

А за окнами больницы — большой ясный день. Большая милая жизнь…

Позови меня в даль светлую…

В небольшом русском городке, где-то на окраине, где дальше — за пустырем — виден уже и лес и не дымят трубы, в аккуратном домике из трех комнат жила женщина. Звали женщину красиво — Агриппина, Агриппина Игнатьевна Веселова, попросту — Груша. Было ей тридцать четыре года, и были у нее сын Витька двенадцати лет да брат Николай Игнатьевич, главный бухгалтер пригородного совхоза, да где-то был муж… С мужем они разошлись три года назад: тот взял в подруги… бутылку, и та подруга белоголовая завлекла его куда-то далеко, даже и не слышно было, где он.

Брат Николай приезжал по воскресеньям к сестре и племяннику, старался как-нибудь им помочь, продукты привозил, деньжонок иногда.

И один раз, в воскресенье, приехал он с важным каким-то делом… Но пока дело это не выкладывал, а как обычно они с Витькиной матерью воспитывали Витьку.

— Ну сладу нет — не слушается, и все, — жаловалась мать. — Совсем парень выпрягся…

— Что же это ты, Витька? — гудел большой дядя

Николай, постукивая толстыми прокуренными пальцами по клеенке. — Не годится так, не годится. А что же дальше-то будет, если ты уже счас… черт-те чего вытворяешь? Ведь матери-то одной трудно с тобой, как ты это не поймешь!..

— Ни дьявола не понимает! На днях чего удумал: взял да соседской свинье глаз выбил…

— Глаз? — удивился дядя Николай.

— Но! Ветеринар, сосед-то… ладно, мужик добрый — не пошел никуда жаловаться. А то было бы дело!

— Зачем же ты ей глаз-то выбил? — спросил дядя.

Лобастый Витька сидел тут же, за столом, делал вид, что усердно читает книгу. Молчал.

— Витьк!

— Ну?

— Зачем глаз-то свинье выбил?

— Я нечаянно, — буркнул Витька.

— «Нечаянно»! — воскликнула мать. — Знаю я, как нечаянно… Нечаянно. — И повернулась к брату — рассказать: — Я его все в пример ставлю, ветеринара-то: выучился человек, теперь живет-поживает, в доме-то только живой воды, наверно, нет… Бери, мол, пример — приглядывайся. А он его и невзлюбил…

— При чем же тут животное, если тебе человек не поглянулся? Витьк!

— Ну?

— Разве можно такие вещи делать?! Ты что, живодер, что ли?

Витька молчал.

— Папа родимый — набычится, и не сдвинешь с места, — заключил дядя Николай. Помолчал. Спросил сестру: — Где он счас? Не слышно?

— «Где»! — горько воскликнула мать. — У него дорог много, и все — веселые.

— Алименты-то шлет?

— Шлет.

— Эх, Витька, Витька… — вздохнул дядя Николай. — Что ж ты так живешь-то? А?

Витька молчал.

— Витьк!

— Ну?

— Чего молчишь?

— Я читаю.

— Что ты мне очки втираешь! — осердился дядя Николай. — Читает он!.. — Потянулся, взял у Витьки книгу. — Что ты читаешь? То ж — задачник! Кто же так задачник читает… как художественную литературу. Менделеев мне нашелся!

— Вот так он меня все время обманывает, — ска-

зала мать. — Спросишь: Витька, выучил уроки? Выучил! А где выучил, где выучил — ничего не выучил, одна улица на уме…

— Ты эту улицу брось, Витька, — резонно стал убеждать дядя Николай. — Она до добра не доведет. Хватишься потом, да поздно будет. Вот он, близко будет, локоть-то, да не укусишь. Улица от тебя не убежит, а время уйдет, не воротишь. Ты лучше возьми да уроки хорошенько выучи, чем… глаза-то свиньям вышибать. Чем выбил-то, камнем, что ли?

Витька водил пальцем по синим клеточкам клеенки. На вопрос только неопределенно поморщился и пожал плечами.

Дядя помолчал и спросил совсем другим тоном — мирно, несколько удивленно:

— Так что, здесь тоже свиней держут?

— Держут, — откликнулась мать. — А чего? Мужик-то в доме, так и держут. Зато всю зиму без горюшка — с мясом. Мужик-то есть, чего не держать?

— Витька, — повернулся дядя к Витьке, — иди учи уроки в ту комнату, мне надо с матерью поговорить.

Витька незаметно с облегчением вздохнул и ушел в другую комнату. Накачка кончилась.

— Я вот о чем с тобой, — заговорил Николай негромко. И посмотрел на часы. — Помнишь, я тебе говорил про мужика-то?

— Ну, помню.

— Это… видал я его в пятницу, говорил с ним…

Груша насторожилась. Заинтересовалась.

— Ну?

— Он придет сегодня… — Николай опять глянул на часы, — через десять минут.

— Батюшки! — испугалась Груша. — Чего же ты молчишь-то сидишь? Надо же хоть маленько прибраться, что ли?..

— А что у тебя?.. Нормально и так…

Груша вскочила было, но оглянула комнату и села опять.

— Так ты расскажи про него… Что хоть за человек-то? Ты откуда его знаешь-то?

— Учился с ним на курсах бухгалтеров вместе…

— Так это когда было-то!

— Давненько. А тут встретил его: я в банк приехал, и он туда же пришел. Ну, разговорились… Ну — как, мол, живешь? То-се… Одинокий он счас — разошлись тоже, двое детей было…

— А чего разошлись-то?

— Пил тоже…

— Вот те на! Так это что же мне, шило на мыло менять?

— Да погоди ты! Пил, счас не пьет — лечился, что ли, или так бросил, не спрашивал. Но твердо знаю, что счас не пьет. Хороший мужик. Я рассказал про тебя: вот, есть, мол, сестра — одинокая тоже, парнишка в пятом классе… Приду, говорит. Посмотри, может, что и выйдет у вас. Чего же одна будешь с этих лет…

Через приоткрытую дверь в горницу Витька слышал весь разговор. Навострил уши.

— Страшно, Коля, — говорила мать. — С одним всадилась до ушей… Но тогда хоть молодая была — простительно, а теперь-то — это уж глупость будет несусветная. Сама себя исклянешь…

— А не торопись, никто тебя силком не гонит, — отвечал на это Николай. — Присмотрись сперва… Да и он, думаю, тоже не кинется сломя голову. Алименты только с него здоровые дерут…

— Да это-то… черт бы его бей, с алиментами, они все нынче с алиментами. И я-то ведь не девка. Был бы человек хороший. Не зряшный какой…

— Да нет, он так-то ничего вроде. Вон он идет! Особо не суетись — тоже не в поле обсевок. Но и… это… не строй из себя… Нормально, как всегда…

— Да уж как-нибудь сумею. А семья-то его где,

здесь живет?

Николай не успел ответить. В дверь снаружи постучали.

— Ну? — кивком показал на дверь Николай — откликнись, мол.

Груша чего-то растерялась…

Помолчали и вместе сказали:

— Да!

— Войдите!

Вошел носатый, серьезный, преуспевающий на вид человек лет этак сорока трех — сорока пяти. В добром, сталистого цвета плаще, при шляпе и при большом желтом портфеле. Маленькими глазками сразу с любопытством воткнулся в женщину… Но смотрел ровно столько, сколько позволило первое приличие.

— Ну вот, не заблудился, — сказал он. — Здравствуйте.

Николай поднялся ему навстречу.

Поздоровались за руку.

— Сестра моя… Груша — знакомьтесь, — представил Николай.

Груша, по-молодому еще стройная, ладная, тоже поднялась, подала руку.

— Владимир Николаевич, — назвался гость.

— Груша.

— Груша — это… Графена?

— Агриппина, — сказал Николай. — Это родители наши верующие были, ну, крестили, конечно… Хорошо, я под Миколу-Угодника угодил, а то был бы тоже какой-нибудь… Евлампий. — Николай мелко, насильственно посмеялся. — У нас был в деревне один Евлампий…

— Он потом переменил имя, — сказала Груша.

— Да, потом, правда, променял на… забыл, кто он стал-то?

— Владимир.

— Тезки, значит. — Владимир Николаевич тоже искусственно посмеялся.

— Садитесь, — пригласила Груша.

— Спасибо. Я бы разделся…

— О Господи! — спохватилась Груша. И покраснела. — Раздевайтесь, пожалуйста!

Она была еще хороша, Груша. Особенно заметно стало это, когда она суетилась и на тугие скулки ее набежал румянец, и глаза, широко расставленные, простодушно, искренне засмеялись.

Владимир Николаевич опять ненароком прицелился к ней мелким, острым взглядом.

— Витька! — громко позвал дядя Коля. — Идика сюда.

Вошел Витька.

— Познакомься с… дядей Володей, — сказал дядя Коля.

Витька стоял и смотрел на носатого дядю Володю.

— Ну, герой!.. — добренько сказал дядя Володя. И поискал в карманах у себя… — На-ка — пиратом будешь. — Подал простенький пистолетишко, который даже и без пистонов был, а просто — чакал.

Витька не мог сдержать снисходительную ухмылку. Чакнул пару раз…

— Это — для первачей только.

Матери стало неловко, что сын у нее такой неблагодарный. Она опять покраснела.

— Ну, Витька!.. — сказала она. И засмеялась, и опять доверчиво и ясно засмеялись ее глаза.

— Ну, дядя Володя тебя еще не видел, не знал, что ты такой большой, — пришел на выручку дядя Коля. — В следующий раз принесет… А что тебе, пушку, что ли, надо?! Какой!

— Садитесь, Владимир Николаевич, — пригласила мать.

Владимир Николаевич прихватил портфель и прошел с ним к столу. Присел, портфель поставил возле ног.

— Тепло как на улице-то; — сказал он. — Все же

— сентябрь месяц, должно уже чувствоваться…

— Ну что, Витька? — спросил дядя Коля. — Небось на улицу лыжи навострил? Ну, иди, иди, а то там дружки твои заждались.

Витька вопросительно глянул на мать.

— Иди, поиграй, — разрешила мать.

Витька ушел.

Дружков у Витьки было несколько. Но самый задушевный, самый верный и умный, кому Витька подражал во всем почти, был Юрка, девятиклассник, квартирант старика Наума Евстигнеича, что жил по той же улице, через три дома.

У Юрки нелегкое положение. Отца у него нет, погиб на лесоповале, одна мать, а у матери, кроме Юрки, еще трое на руках — мал мала меньше. Мать живет в небольшой деревне, в сорока километрах отсюда, там вот нет десятилетки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. Юрка и сам хочет окончить школу. Больше того, он мечтает потом поступить в институт. В медицинский. Единственный, перед кем Витьке совестно, что он плохо учится, — это Юрка.

Огромный старик Наум Евстигнеич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал.

Раз в месяц — с пенсии — старик аккуратно на-

пивался. И после этого дня по два лежал в лежку.

— Как черти копытьями толкут! — слабо удивлялся старик на печке. — О! О! Что делают!..

Юрка учил уроки.

— Кончаюсь, Юрка, — возвестил старик. — Все.

— Не надо было напиваться, — жестко сказал Юрка; старик мешал ему.

— Молодой ишо рассуждать про это — надо, не надо. Шибко уж много вы нынче знаете!

Юрка ниже нагнулся к книге.

— А что же мне делать, если не выпить? — Старику охота поговорить: все, может, полегче будет. — Все ученые стали! — Старик всерьез недолюбливает Юрку за его страсть к учению. У него свои дети все выучились и разъехались по белому свету; старик остался один и винит в этом только учение. — В собаку кинь — в ученого попадешь.

Юрка молчит. Шевелит губами.

Вошел Витька.

— Здорово, Витька! — сказал старик. — Хвораю.

— Опять? — спросил Витька.

— Вон дружок твой ругает, что выпил… Должен же я хоть раз в месяц отметиться.

— Зачем? — спросил Юрка, откинувшись на

спинку стула и подмигнув Витьке на старика. — Зачем напиваться-то?

— Что я, не человек, что ли?

— Хм… — Юрка качнул головой. — Рассуждения, как при крепостном праве. Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.

— А ты откуда знаешь про крепостное время-то? — Старик смотрит сверху страдальчески и снисходительно. — Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка, а сидит, рассуждает…

Юрка скосоротился и безнадежно махнул рукой.

Витька подсел к нему.

— Как дела? — спросил Юрка негромко.

— Ничего!

— Все знают! — разошелся старик. — Все на свете знают. А чего человек с похмелья хворает, это вы знаете, товарищи ученые?

«Ученые» переглянулись…

— Отравление организма, — отчеканил Юрка. — Отравление сивушным маслом.

— Где масло? В водке?

— Так точно, ваше благородие! — Юрка с Витькой хихикнули.

— Доучились! — Старик доволен, что поймал

зеленых на явной глупости. — А сыра там нет случаем? Хэх, елки-палки!..

— Хочешь, я тебе формулу покажу? — вскочил Юрка. — Сейчас я тебе наглядно докажу… На! Вот она, формулка…

— Пошел ты со своей формулой! О-ох, опять накатило… О, что делается!

— Ну, похмелись уж тогда, чего мучиться-то?

Старик никак не реагирует на это предложение.

Витька заговорщически наклонился близко к другу и сказал тихо:

— Денег жалко. На похмелку-то.

Юрка согласно кивнул головой: знаю, мол.

— Я тебе сала маленько принес. В сенцах оставил.

— Дядька приехал?

Витька кивнул.

— Еще какой-то гусь пришел — к маме. Володя какой-то.

— Зачем?

Витька пожал плечами.

— Сватать, что ли… Он прямо не говорит. Пистолет вот подарил.

— Ну-ка? Ой, ну и пистолет!

— Он думал, я еще маленький.

— Витька, отец-то пишет? — спросил старик. — Где он счас?

— Не знаю, — неохотно сказал Витька.

— Помогает вот он вам?

— Не знаю. Помогает.

— Носит нынче людей по белому свету… — сказал старик. — И моих где-то черт носит. Вот оно, ученье-то!

— Радоваться надо, что дети выучились, а он… ворчит, — заметил Юрка.

Старик приподнялся на локте.

— Сколько тебе лет учиться до хирурга?

— Шестнадцать. Десять плюс шесть в медицинском институте.

— Так, — зловеще гнул старик. — А сколько ты будешь получать?

— Не в этом дело…

— Нет, сколько?

— Я не интересуюсь зарплатой.

— А-а — завилял? Зарплатой не интересуется… Видали ухаря? Витька, дай ему там подзатыльник, хвастунишке. Зарплатой они не интересуются!.. Только старикам шиш высылают.

— Что, у тебя денег, что ль, нету?

— Есть. Не про вашу честь.

— Ну и вот.

— Я тебе про другое толкую: на кой шут жилы-то из себя тянуть столько лет? Иди вон на шофера выучись да работай. Они вон по сколь зашибают. Да ишо приворовывают: где лесишко кому подкинет, где угля — деньги. И матери бы помог. У ей ведь трое на руках… Шутка в деле! Кажилится на тебя, кажилится, а ты потом — хвост трубой и завьесся в большой город.

— Не твое дело.

— Знамо, не мое. Я чужой человек, плотишь мне пять рублей — живи на здоровье. Мне матерю твою жалко. Легко, думаешь, ей одной с вами?..

— Проживем! — резко сказал Юрка. — Никому до этого… Нечего! Жили и проживем.

— Сбили вас с толку этим ученьем — вот и мотаетесь по белому свету. Ты ишо кто? — сосунок, а уж по квартирам сшиваешься. Дома родного не знаешь.

— Если дома нет десятилетки, что я теперь?

— Во-от! «Десятилетки», «пятилетки»… Жили раньше без всякого ученья — ничо, Бог миловал: без хлебушка не сидели.

— У вас только одно на уме — «раньше»!

— А то… ирапла-анов наделали — дерьма-то.

— А тебе больше глянется на телеге?

— А чем плохо на телеге? На телеге-то я если

поехал, то хоть знаю: худо-бедно — доеду. А ты навернесся с этого своего ираплана — костей не соберут.

Юрка махнул рукой.

— Витька, спорь с ним, если охота. Мне надо учить.

— А космос? — значительно спросил Витька старика.

— Что «космос»?

— Космос. Куда наши космонавты летают…

— Летают, — поправил Юрка.

— Летают, — поправился Витька.

— Гагарин-то?

— Не один Гагарин. Много уже.

— А чего они туда летают? Ну и что, что летают? Что толку-то?

— Во дает! — воскликнул Юрка, опять откинувшись на спинку стула.

— Понял? — сказал Витька. — А что, им лучше на печке лежать?

— Чего вы привязались с этой печкой? — обиделся старик. — Доживите до моих годов, тогда вякайте. Только сперва доживите.

— Я же не в обиду тебе говорю, — продолжал Витька. — Но спрашивать, зачем люди в космос летают, — это, я тебе доложу…

— Доложи, сделай милость. Доложи старику. Я, видишь, не спрашиваю, зачем ты, паршивец, ко мне в сад лазишь — знаю потому что, а в космос — не знаю, доложи, сделай милость.

Витька великодушно пропустил мимо ушей замечание про сад.

— Ну, во-первых: основание космоса — это… надо. Придет время, люди совсем сядут на Луну. А еще придет время — долетят до Венеры, так? А на Венере, может, тоже люди живут…

— На Марсе, — поправил Юрка.

— Ну, на Марсе. Разве ж не интересно глянуть на их?

— Они такие же, как мы?

Витька оглянулся на Юрку… Юрка пожал плечами.

— Этого я точно не знаю, — честно сказал Витька. — Может, маленько пострашней, потому что там атмосфера не такая — больше давит.

— Ишо драться кинутся, — сказал старик.

— За что?

— Ну, скажут: зачем прилетели? — Старик явно заинтересовался Витькиным рассказом. — Незваный гость хуже татарина.

— Не кинутся. Они тоже обрадуются.

— Еще неизвестно, кто из нас умнее, — вклю-

чился в разговор Юрка. — Может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим… — Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал и начал ходить по избе. — Мы же еще не знаем, сколько еще таких планет, похожих на Землю. А их, может, много! И везде живут… существа. И мы будем летать друг к другу… И получится такое… мировое человечество. Все будем одинаковые.

— Жениться, что ли, друг на дружке будете?

— Я говорю — в смысле образования! «Жениться»…

— У них одно на уме — жениться, — недовольно заметил Витька.

— Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Вот тогда будет жизнь! Захотел ты, допустим, своих сыновей повидать прямо с печки — пожалуйста: включил видеоприемник, настроился на определенную волну — они здесь, разговаривай. Ругайся, если хочешь. А медицина будет такая, что люди будут до ста — ста двадцати лет жить…

— Ну, это уж ты… приврал.

— Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет — это нормальный срок. Мы

только не располагаем данными… Но мы их возьмем у соседей по Галактике.

— А сами-то не можете — чтоб сто двадцать?

— Сами пока не можем. Это медленный процесс… — Юрка даже слегка кокетничает, изображает из себя какого-то учителя. — Может, мы и докатимся когда-нибудь, что будем сто двадцать лет жить, но это еще не скоро.

— Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест.

— Ты не захочешь, а другие — с радостью. Будет такое средство…

— «Средство»… Открыли бы лучше какое-нибудь средство от похмелья. А то башка, как…

— Не надо пить.

— Пошел ты!..

Замолчали. Юрка опять решительно сел за учебник.

— У вас только одно на языке: «Будет! Будет!» — опять начал старик. — Трепачи. Ты вот — шешнадцать-то лет будешь учиться, а начнет человек помирать, что ты сделаешь?

Юрка не намерен больше болтать. Молчит.

— Вырежет ему чего-нибудь, — сказал Витька.

— Да если ему срок подошел помирать, чего ты ему вырежешь?

Витька не знал.

— Я на такие… темные вопросы не отвечаю.

— Нечего ответить, вот и не отвечаете. Светлые ваши головушки… только мякиной набиты.

— Нечего? — опять вскочил Юрка. — А вот эти люди?.. — сгреб кучу книг и показал. — Вот этим людям тоже нечего отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

— Там читать нечего — вранье одно. У меня на квартире жил один…

— Во дает?! — сказал Витька.

— Ладно! — Юрка опять начал ходить по избе. — Чума раньше была?

— Была. У нас в двадцать…

— Где она теперь? Есть?

— Не приведи, Господи! Может, будет…

— В том-то и дело, что больше не будет. С ней научились бороться. Дальше! Если бы тебя раньше укусила бешеная собака, что бы с тобой было?

— Сбесился бы.

— И помер бы. А сейчас — сорок уколов, и все. Человек живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас — пожалуйста: полгода — и человек как огурчик! А кто это все придумал? Ученые. «Вранье»… Хоть бы уж помалкивали, если не знаете.

Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.

— Так. Ладно. Собака — это ладно. А змея уку-

сит?.. Где они были, доктора-то, раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет — и как рукой снимет. А ведь она институтов ваших не кончала.

— Укус был не смертельный, вот и все. Это элементарно.

— Иди подставь: пусть она тебя разок чикнет…

— Пожалуйста! Я до этого укол сделаю — и пусть кусает, сколько влезет, — я только улыбнусь.

— Хвастунишка.

— Да вот же они, во-от! — Юрка опять показал на книги. — Люди на себе экспериментировали! А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает…

— Как это? — очень заинтересовался старик.

Витька тоже не слышал про это.

— Так. «Вот, говорит, сейчас у меня холодеют ноги — пишите». Они писали. Потом руки отнялись. Он говорит: «Руки отнялись».

— А они пишут?

— Они пишут. Потом сердце стало останавливаться, он говорит: «Пишите». Они плакали и писали. — У Юрки у самого на глазах показались слезы. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.

— Ну?

— И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими вашими бабками еще бы… триста лет в темноте жили. «Раньше было! Раньше было!» Какие-то кулацкие уклоны… Вот так было раньше? — Юра подошел и включил радио. Пела певица. Немного все послушали ее. — Где она? — спросил Юрка.

— Кто?

— Певица-то. Ее же нет здесь, а — поет.

— Так это по провода-ам.

— Это радиоволны! «По провода-ам». По проводам — это у нас здесь. А она, может, где-нибудь в Москве или в Ленинграде поет — что, туда провода протянуты?

— Провода. Я в прошлом годе ездил к Ваньке, видел: вдоль железной дороги провода висят. На столбах. Чего ты мне говоришь-то?

Юрка махнул рукой.

— Тебе не втолковать! Мне надо уроки учить. Все.

— Ну и учи.

— А вы отрываете. — Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал усердно читать.

Долго в избе было тихо.

— Витька, а ты на кого хочешь учиться? — спро-

сил старик.

Витьку этот вопрос застал врасплох.

— Я пока выбираю, — сказал он.

— На кого он будет учиться! — оторвался от книги Юрка. — У него по арифметике плохо. Не исправил, Витька?

— Не…

— Что ж ты?

— Знаешь, на кого учись? На судью, — посоветовал старик.

— О-о! — удивились ребятишки. — Чего это?

— Люди будут бояться. Скажут: вон, вон — судья идет! Большое дело.

— Тогда уж — на прокурора, — сказал Витька. — Он пострашней.

— Прокурор — это не все понимают, что страшно. А вот судья… это судья. Это уже тюрьмой пахнет.

Еще помолчали.

— Он есть на карточке? — спросил вдруг старик.

— Кто?

— Тот ученый, помирал-то который.

— Академик Павлов? Вот он.

Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Витьке тоже показал редкостного ученого.

— Старенький уж был, — сказал Евстигнеич жалостливо.

— Он был до старости лет бодрый и не напивался, как… некоторые. — Юрка отнял книгу. — И не валялся потом на печке, не матерился…

— Чего вы взъелись-то на меня?! — вскричал больной старик. — Ты гляди что — житья не дают! Комиссары нашлись… Вам ба по тогдашнему делу — только комиссарами быть. Они тогда молодые были… Такие же вот… молокососы заполошные. Командовали.

Юрка сел опять за учебники, а Витька стал листать книжку с портретами ученых.

— Ох, мать ты моя-а!.. — закряхтел опять старик. И полез с печки. Надел валенки, взял нож и вышел в сени.

— Куда это он? — спросил Витька.

Юрка пожал плечами.

— Ну, и что этот гусь? — спросил Юрка. — Наверно, отцом твоим станет?

Витька уставился на друга, точно до него только сейчас дошел истинный смысл прихода дяди Володи в их дом.

— Отцом? — переспросил он.

— Ну а кем же? Не родным, конечно, но жить-то у вас будет.

Вошел старик… Нес в руке добрый кус сала.

— Нате поешьте… ученые. А то, пока дойдете до своих хирургов-то, — загнетесь.

— Зачем? У меня есть — мне Витька принес…

— Ешьте! «Витька принес»… У Витьки у самого… зад сверкает. Безотцовщина. Ешьте, это доброе сало, не базарное.

— Нам дядя Коля привез из деревни — тоже доброе, — вступился Витька за свое сало.

— В деревне теперь разучились солить. Не разучились, а… не хотят. Тоже все на базар норовят: как попало посолил, лишь бы вид сохранить. — Старик опять полез на печку. — Ох, язви ты в душеньку!.. Как ляжешь, так опять подступает.

— Давай, мы сбегаем за четвертинкой? — еще раз предложил Юрка.

Старик помолчал.

— Не надо, — сказал. — Перемаюсь как-нибудь.

Ребятишки достали хлеб и принялись за сало.

— Ну и как мне его теперь, папкой, что ли, звать? — спросил Витька негромко.

Юрка пожал плечами.

— К нам, когда папка помер, тоже приходил один… я его дядей Сашей звал. Не мог. Я папку-то хорошо помню.

— И я помню.

— Ну и будешь дядей звать… Нечего их наваживать. Старый?

— Старый, — сказал Витька, всерьез озабоченный новым «папкой».

— А у его, что же, родных-то никого не было, что ли? — спросил старик с печки.

— У кого? — не понял Юрка.

— У того академика-то. Одни студенты стояли?

— У Павлова? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.

— Дети-то были, поди?

— Наверно. Завтра узнаю.

— Были, конечно. Никого если б не было родных-то, немного надиктуешь. Плохо человеку одному. Не приведи Господи!

…Мать Витькина громко засмеялась.

— Не знаю, — сказала она. — Я так не думаю.

— Уверяю вас! — тоже улыбаясь, воскликнул слегка заалевший Владимир Николаевич.

И дядя Николай тоже слегка заалел… Всем было хорошо, все слегка поразмякли.

— А не спеть ли нам?! — догадался дядя Николай. — А? Эх, Витьки нет, он бы нам счас на баяне подобрал какую-нибудь.

— Хорошо играет? — спросил Владимир Николаевич.

— Мой подарок, — не удержался, похвастал дядя Нико-лай. — На день рождения ему отвалил — пускай учится.

— Люблю музыкальных детей, — сказал Владимир Николаевич.

— Так споем, что ли!

— Какую? — спросила Груша.

— Давай какую-нибудь. Ты у нас песельница.

— Ну, прямо!.. Нашел песельницу.

И вдруг Владимир Николаевич, прикрыв маленькие петушиные глаза, зачастил не шутя, козлом:

Небо, небо, небо, небо-о!..

Хотел-то он всерьез, но так это вышло смешно и нелепо, что Николай и Груша засмеялись. Тогда засмеялся и Владимир Николаич — будто он хотел пошутить.

— Давай, Груша! — попросил опять Николай. — Помнишь, про колечко как-то… Про любовь, про колечко. Ты часто пела…

Груша, справившись со смущением, вскинула голову, как-то простецки-смело глянула на «суженого», усмешливо улыбнулась и негромко, красиво запела:

Что стоишь, качаясь,

То-онкая рябина-а?

Го-оловой склоняясь

До самого тына…

Брат Николай неожиданно хорошо, в лад поддержал:

…Го-оловой склоняясь

До самого-о тына.

Они, видно, певали раньше — славно у них вышло.

Там через дорогу… —

повела дальше Груша, -

За-а рекой-ой широкой

Та-ак же о-одиноко

Дуб стоит высокий.

Владимир Николаич заблеял было:

Та-ак же одиноко-о…

Но — смолк. Не умел он. Стал слушать.

Брат с сестрой пели:

Как бы мне, рябине,

К ду-убу перебраться,

Я-а б тогда не стала

Гнуться и качаться-а!..

Ох, я-а б тогда не стала…

Тут вошел Витька.

Песня погибла. Мать что-то опять смутилась, вскочила из-за стола, улыбаясь, и какой-то извиняющийся тон появился.

— Сынок пришел! Поесть хочешь?

— Нет, — сказал Витька. — Я у Юрки поел…

— Господи!.. «У Юрки». Он и так едва концы с концами сводит, а он объедает ходит…

— Нам дед Ефим сала дал.

— Витьк, ну-ка сыграй нам! — сказал дядя Коля. — А?

— Я уроки не выучил, — сказал Витька. И посмотрел на дядю Володю не очень любезно.

— Ну, сыграл бы… — попросила и мать.

— Хо!.. Говорю же: уроки не выучил…

— Что ж ты до сих пор не выучил? — обиделся дядя Коля. — Ох, Витька, Витька… Ну, иди учи.

Матери неловко стало за столь открытую нелюбезность сына.

— Ну, иди, иди — учи, — тоже сказала она.

Витька ушел в горницу.

Дядя Володя поднялся…

— Ну, пора и честь знать, как говорят.

— Да посиди еще! — воскликнул Николай. — Чего ты? Еще успеешь. Куда торопиться-то?

— Посидите, — сказала и Груша.

— Да нет, пойду… А то темно станет. Включу счас телеви-зор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Витька у себя в горнице похоже передразнил дядю Во-лодю.

— Да нет, пойду… А то темно станет, хулиганов полно на улицах… Гусь-Хрустальный.

— Ну, приходите… Не забывайте, — слышалось из большой комнаты. Мать говорила.

— Ладно, ладно — приду, — опять изобразил Витька ненавистного ему гостя. — В воскресенье приду. Может, в субботу… Явлюсь, так сказать.

И стал дядя Володя являться. По субботам и воскресеньям.

Раз явился:

— Здравствуйте. Немного все же похолодало. Чувствуется. Лист уже пожелтел.

Два явился:

— Здравствуйте. Сегодня потеплей. Но все равно скоро — конец. Лист только до первого ветра: слетит.

Три явился:

— Слетел. Голенькие стоят. Пора…

Один раз мать с Витькой откровенно поговорили.

— Уроки выучил?

— Выучил.

— Ну-ка, сядь — поговорим. Как тебе дядя Володя-то?

Витька хотел увильнуть от ответа. Пожал плечами, как он делал, когда не хотел говорить прямо.

— Что? — спросила мать.

— Ничего…

— Не глянется?

Витька опять пожал плечами.

Мать кивнула головой, подумала… И вдруг засмеялась милым своим, ясным смехом.

— Ох, и но-ос!.. На семерых рос, одному достался. А, Витька?.. Вот так нос!

Витька моментально осмелел, затараторил:

— Да он этим своим носом всю мебель нам посшибает! Это же не нос, а форштевень!

— Руль, — коротко определила мать. — Но… Витька… дружок: нам не до жиру — быть бы живу. Так, сына. Дело наше… неважнецкое.

— Да что, с голоду, что ль, помираем?

Мать засмеялась.

— Да нет, что же?.. Нет. Немолодая уж я, сы-

нок, — выбирать-то. Вот штука-то. Время мое ушло. Ушло времечко… — Мать вздохнула. — Десять бы годков назад — этот бы дядя Володя… — И не стала досказывать. А стала говорить совсем другое — может, себя убеждала:

— Да он неплохой — так-то… Вон какой рассудительный. Не пьет.

— Не пьет, а по бутылочке всегда приносит.

— Да это ж… что ж? Разве это пьет? Так-то пьет — это не страшно.

— С бутылочки все и начинается, — стал тоже рассуждать Витька.

Мать опять засмеялась.

— Нет, у него тоже уж теперь — не начинается. Сам не молодой. Нет, так-то… зачем же зря человека хаять? Не надо. Не витязь, конечно, но…

— Какой уж там витязь — гусь!

— Не надо так! — строго велела мать. — Разговорился! Малой еще — так разговаривать. Ишь ты… Подрасти сперва, потом уж рассуждай. А то… больно языкастые нынче стали.

И опять пришел дядя Володя.

Витька увидел его раньше, в окно.

— Идет! — крикнул он.

— Кто?

— Ну, кто?.. Хрустальный!

— Витька! — сердито сказала мать. — Ну-ка, отойди оттуда, не торчи.

Витька отошел от окна.

— Играть, что ли?

— Играй, какую-нибудь… поновей.

— Какую? Может, марш?

— Да зачем же марш-то? Генерал, что ли, идет? Вот, какую-то недавно учил…

— «Венок Дуная»? Мы его еще не одолели. Давай «Смешное сердце»?

— Играй. Она грустная?

— Помоги-ка снять… Не так чтобы очень грустная, но за душу возьмет. Ручаюсь.

Мать сняла со шкафа тяжелый баян, поставила Витьке на колени.

— Там есть, например, такие слова: «Смешное сердце, не верь слепой надежде: любовь уходит…» Куда уж грустней — зареветь можно.

— Да уж…

Витька заиграл «Смешное сердце».

Вошел дядя Володя, аккуратненько отряхнул шляпу у порога и тогда только сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, Владимир Николаич, — приветливо откликнулась мать.

Витька перестал было играть, чтоб поздоро-

ваться, но увидел, что дядя Володя не смотрит на него, отвернулся и продолжал играть.

— Дождик, Владимир Николаич?

— Сеет. Пора уж ему и сеять.

Дядя Володя говорил как-то очень аккуратно, состоятельно, точно кубики складывал. Положит кубик, посмотрит — переставит. За время, пока он сюда ходил, он осмелел, вошел во вкус единоличного говорения — когда слушают.

— Пора… Сегодня у нас… что? Двадцать седьмое? Через три дня — октябрь месяц. Пойдет четвертый квартал.

— Лист облетел? — спросил Витька.

— Весь. Отдельные листочки еще трепыхаются, но… скоро и эти слетят.

Дядя Володя прошел к столу, вынул из портфеля бутылку шампанского. Поставил на стол.

— Все играешь, Витя?

— Играет! — встряла мать. — Приходит из школы и начинает — надоело уж… В ушах звенит.

Это была несусветная ложь; Витька даже приостановился играть, изумленно глянул на мать… и продолжал играть. Вообще Витьку удивляло, что мать, обычно такая живая, острая на язык, с дядей Володей во всем тихо соглашалась.

— Хорошее дело, — похвалил дядя Володя. — В

жизни пригодится. Вот пойдешь в армию: все будут строевой шаг отрабатывать, а ты — в Красном уголке на баяне тренироваться.

— На баяне не тренируются, — сказал Витька. — Тренируются на турнике.

— А на баяне что же делают?

— Репетируют.

Дядя Володя снисходительно посмеялся… Посмотрел на мать, показал глазами на Витьку.

— Все знают.

— Ну, они нынче…

Витька тоже посмотрел на дядю Володю… И ничего не сказал. Продолжал играть «Смешное сердце».

— Садитесь, Владимир Николаич. Садитесь.

— Если талант есть — большое дело, — продолжал дядя Володя, сев за стол. — С талантом люди крепко живут.

— Наоборот, — опять не выдержал Витька. — Юрка говорит: талантливым всегда первым попадает.

— Витя!..

— Какой Юрка?

— Да мальчик тут один… по соседству, — пояснила мать. — Давайте, Владимир Николаич…

— С плохими товарищами не знайся, — сказал

дядя Володя.

— Да он хороший мальчик… учится хорошо. На квартире здесь живет. Витя, ты если сел играть, играй.

— Играю.

— Попадает, Виктор, не талантам, попадает… неслухам, грубиянам — этим попадает, верно. А талант… — это талант. Ну, и учиться, конечно, надо — само собой.

— Вот учиться-то… — Мать строго посмотрела на Витьку. — Лень-матушка!.. Вперед нас, видно, родилась.

Витька поддал на баяне.

— Витька, смори маленько. В ушах, правда, звенит.

— Плохо с учебой, Виктор?

— Чего только не делаю: сама иной раз сяду с ним: «Учи! Тебе ведь надо-то, не мне». Ну!.. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Был бы отец-то… Нас-то много они слушают!

— Отец-то пишет, Виктор?

— А чего ему писать? — отвечала мать. — Алименты свои плотит и довольный. А тут рости как знаешь.

— Алименты — это удовольствие ниже среднего, — заметил дядя Володя. — Двадцать пять?

— Двадцать пять.

— Стараться надо, Виктор. Маме одной трудно.

— Понимали бы они…

— Ты пришел из школы, сразу раз — за уроки. Уроки приготовил — поиграл на баяне. На баяне поиграл — пошел погулял.

Мать вздохнула.

Витька играл «Смешное сердце».

Дядя Володя открыл бутылочку шампанского.

— Как она у нас — пук! — засмеялся он, довольный.

— Надо наклонять, — встрял Витька, — тогда и «пук» не будет.

— Шампанское должно пу… стрелять, — авторитетно сказал дядя Володя. — Прошу вас, Агриппина Игнатьевна. — И дядя Володя опрокинул шампанское в большой рот.

— Х-у-у, — сказал он и поморгал маленькими глазами, — в нос дает.

Витька захохотал.

Мать с укоризной поглядела на него.

— Держите, Агриппина Игнатьевна.

Мать тоже выпила… И долго улыбалась и вздрагивала.

— Стремиться надо, Витя, — продолжал дядя Володя, наливая еще два фужера.

— Уж и то говорю ему: «Стремись, Витька…»

— Говорить мало. Что говорить!

— Как же воспитывать-то?

Дядя Володя кивнул головой, приглашая Грушу опрокинуть фужерчик.

— Ху-у-у, — опять сказал он. — Все: пропустили по поводу воскресенья, и будет. — Дядя Володя закурил. — Я ведь злоупотреблял, крепко злоупотреблял…

— Вы уже рассказывали. Счастливый человек — сократились… Взяли себя в руки.

— Бывало, утром на работу идти, а от тебя, как от циклона, — на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахерскую — не бриться, ничего — откроешь рот, он побрызгает, тогда уж идешь. Хочешь на счетах три положить — кладешь пять.

— Гляди-ка!

— Да. В голове — дымовая завеса, — обстоятельно рассказывал дядя Володя, полагая, что это и занимательно, и поучительно. — А у меня еще стол напротив окна стоял, в одиннадцать часов солнце начинает в лицо бить — пот градом!.. И мысли же комичные возникают: в ведомости, допустим, написано: «Такому-то на руки семьдесят пять рублей». А ты думаешь: «Это ж сколько поллитр выйдет?!» Хе-хе… И ведь начинаешь делить,

вот что самое любопытное. Делить начинаешь невольно!

— До чего можно дойти! — сочувственно заметила мать. — Ай-яй!

— Гораздо дальше идут. У меня приятель был — тот все по ночам шанец искал…

— Что это?

— Шанс. Он его называл — шанец. Один раз искал-искал, и показалось же ему, что кто-то позвал с улицы, шагнул с балкона — и все, не вернулся.

— Разбился?

— Ну, с девятого этажа… Он же не голубь мира. Когда летел, успел, правда, крикнуть: «Эй, вы что?!»

— Сердешный, — вздохнула мать.

Дядя Володя посмотрел на Витьку

— Отдохни, Виктор. Давай в шахматы сыграем. Заполним вакум, как у нас главный говорит. Тоже бросил пить и не знает, куда деваться. Не знаю, говорит, чем вакум заполнить. Давай — заполним.

Витька посмотрел на мать.

Мать улыбнулась.

— Ну отдохни, сынок.

Витька с великим удовольствием вылез из-под баяна… Мать опять взгромоздила баян на шкаф, накрыла салфеткой.

Дядя Володя расставлял на доске фигуры.

— В шахматы тоже учись, Виктор. Попадешь в какую-нибудь компанию: кто за бутылку, кто разные фигли-мигли с женским полом, а ты — раз — за шахматы: «Желаете?» К тебе сразу другое отношение. У тебя по литературе как?

— Трояк.

— Плохо. Литературу надо назубок знать. Вот я хожу пешкой и говорю: «Е-два, Е-четыре, как сказал гроссмейстер». А ты не знаешь, где это написано. А надо бы знать. Двигай.

Витька походил пешкой.

— А зачем говорить-то: «Е-два, Е-четыре…»? — спросила мать, наблюдая за игрой.

— А — шутят, — пояснил дядя Володя. — Шутят так. А люди уже понимают: «Этого голой рукой не возьмешь». У нас в типографии все шутят. Ходи, Виктор.

Витька походил фигурой.

— А вот пили-то, — поинтересовалась мать, — жена-то как же?

— Жена-то? — Дядя Володя задумался над доской: Витька сделал неожиданно каверзный ход. — Реагировала-то?

— Да, реагировала-то?

— Отрицательно. Из-за этого и разошлись, мож-

но сказать. Не только из-за этого, но большинство из-за этого. Вот так, Витька! — Дядя Володя вышел из трудного положения и был доволен. — Из-за этого и горшок об горшок у нас получился.

— Как это? — не понял Витька.

— Горшок об горшок-то? — Дядя Володя снисходительно посмеялся. — Горшок об горшок — и кто дальше.

Мать тоже засмеялась.

— Еще рюмаху, Владимир Николаич?

— Нет, — твердо сказал дядя Володя. — Зачем? Мне и так хорошо. Выпил для настроения, и будет. Раньше не отказался бы. Я ведь злоупотреблял…

— Вы говорили уже. Не думаете сходиться-то? — вдруг спросила мать.

— С кем, с ней? Нет, — твердо сказал дядя Володя. — Дело принципа: она мне параллельно с выпивкой таких… вещей наговорила… Я, по ее мнению, оказываюсь — «тоскливый дятел».

Мать и Витька засмеялись. Но мать тотчас спохватилась.

— Что же это она так? — сказала она якобы с осуждением той, которая так образно выразилась.

— Сильно умная! — в сердцах сказал дядя Володя. — Пускай теперь…

Пока дядя Володя волновался, Витька опять сделал удачный ход.

— Ну, Виктор!.. — изумился дядя Володя.

Мать незаметно дернула Витьку за штанину — уступи, мол. Витька протестующе дрыгнул ногой — он вошел в азарт.

— Так, Витенька… — Дядя Володя думал, сморщившись. — Ты так? А мы — вот так!

Теперь Витька задумался.

— Детей-то проведуете? — расспрашивала мать.

— Проведую. — Дядя Володя закурил. — Дети есть дети. Я детей люблю.

— Жалеет сейчас небось?

— Жена-то? Тайно, конечно, жалеет. У меня сейчас без вычетов на руки выходит сто двадцать. И все целенькие. Площадь — тридцать восемь метров, обстановка… Сервант недавно купил за девяносто шесть рублей — любо глядеть. Домой придешь — сердце радуется. Включишь телевизор, постановку какую-нибудь посмотришь. Хочу еще софу купить.

— Ходите, — сказал Витька.

Дядя Володя долго смотрел на фигуры, нахмурился, потрогал в задумчивости свой большой, слегка подкрашенный нос.

— Так, Витька… Ты так? А мы — так! Шахович. Софы есть чешские… Раздвижные — превосходные. Отпускные получу, обязательно возьму. И шкуру медвежью закажу…

— Сколько же шкура станет?

— Шкура? Рублей двадцать пять. У меня племянник часто в командировку в Сибирь ездит, закажу ему, он привезет.

— А волчья хуже? — спросил Витька.

— Волчья вообще не идет для этого дела. Из волчьих дохи шьют. Мат, Витя.

Дождик перестал, за окном прояснилось. Воздух стал чистый и синий. Только далеко на горизонте громоздились темные тучи. Кое-где в домах зажглись огни.

Все трое некоторое время смотрели в окно, слушали глухие звуки улицы. Просторно и грустно было за окном.

— Скоро зима, — вздохнула мать.

— Это уж — как положено. У вас батареи не за… Хотя у вас же печное! Нет, у меня паровое. С пятнадцатого затопят. Ну, пошел. Пойду включу телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Дядя Володя надел у порога плащ, шляпу, взял портфель…

— Ну, до свиданья.

— До свиданья.

— Виктор, а кубинский марш не умеешь?

— Нет, — сказал Витька.

— Научись, сильная вещь. На вечера будут приглашать. Ну, до свиданья.

— До свиданья.

Дядя Володя вышел.

Через две минуты он шел под окнами по тротуару, осторожно обшагивая отставшие доски, — серьезный, сутуловатый, положительный.

Мать и Витька проводили его взглядами… И долго молчали.

— Так это что же, — не скрывая изумления, заговорила мать, — он так и будет ходить теперь? Чего же ходить-то?

— Тоже ж… один кукует, — сказал Витька. — Вот и ходит. Гнать его в три шеи!

— А?

— Так и будет ходить. А чего ему?

Мать все никак не могла понять:

— Нет, так чего же тогда ходить? Нечего и ходить тогда.

Витька о чем-то вдруг задумался.

Дня через два они с Юркой решали одну хитроумную задачу. Волновались, спорили.

Тут же, в избе, у порожка, старик Наум нала-

живал улей.

— Если тут вот подпилить, он здесь наступит — она только вон где сработает. Она же не достанет его. — Так рассуждал умный Юрка.

— Пошто не достанет?

— А рычаг-то вот где! Вот — нога наступила, а вот — рычаг, а вот аж где голова.

— Ну, а как?

— Надо рычаг ближе… И под тротуаром маленько подрыть…

— Кого эт там пилить-то собираетесь? — спросил старик.

— Кто собирается? — поспешно сказал Витька. — Никто не собирается.

— Пакостить чего-нибудь надумали?

— Одно на уме! — воскликнул Витька.

— Это у вас одно на уме: где бы напакостить.

— Дед, — вступил Юрка, — надо сперва доказать, потом уж говорить. Чего же зря-то говорить?

— Да ну его, — прошептал Витька. — Я понял: надо доску короче выбрать. Эти, другие, все маленько с виду подпортить, а эту нарочно сверху подновить — чтоб он на нее и наступил. Понял? Он наступит… Понял?

— А вдруг другой кто-нибудь пойдет и насту-

пит?

Витька об этом не подумал.

— А знаешь как? Как ему выходить, я выскочу и незаметно чурбак вытащу. А до этого чурбачок будет подпирать, чтоб никто не провалился. У нас там ходят-то — в день три человека. Я это все там сделаю.

И опять было воскресенье. Опять приходил дядя Володя. Приносил бутылку шампанского… Опять играли с Витькой в шахматы, опять говорили с матерью о сервантах, коврах и… алкоголиках. Долго, нудно…

А теперь дядя Володя стоял у порога и обстоятельно, нудно прощался.

— Ну, до свиданья.

— До свиданья, до свиданья, — говорила мать.

— Виктор, сейчас в моду входит летка-енка. Не умеешь?

— Не умею.

— Красивый танец.

— Все равно не умею.

— А вы, Агриппина Игнатьевна?.. Не умеете?

— Не умею.

— Вообще-то… это… я бы на вашем месте научился. Попробуйте.

— Кто, я, что ли? — удивилась мать.

— Да.

— Танцевать?.. Или на баяне?

— Нет, танцевать. Есть одно обстоятельство… Ну, ладно, потом. До свиданья.

— До свиданья.

— У меня тут родственники… У нас один диссертацию защищает… Ну, ладно, потом. До свиданья.

— До свиданья.

Дядя Володя вышел.

Мать не знала, сердиться ей или смеяться.

— Так и не отелился. Мычал, мычал — и никак. Вот же смешной человек!

— Сейчас он у нас… захохочет, — тихонько сказал Витька, глядя в окно.

В окне показался дядя Володя — серьезный, даже несколько важный…

Вдруг дядя Володя делает руками — так, и его по шляпе хлопает доска…

— Хватить миндальничать! — сказал дядя Коля. Они разговаривали с матерью в большой комнате. А в маленькой горенке сидел грустный Витька и катал по столу бильярдный шар. — Дальше еще хуже будет. Испортим парня… Завтра поедет ко мне и поживет пока. До зимних каникул хотя бы. Не реви, не хуже делаю, не хуже. Наоборот, мои

ребятишки ему там по школе помогут.

Мать Витькина плакала, вытирала слезы концом платка.

— Жалко, Коля… Сердце запеклось, ничего тебе и сказать-то путем не могу… Жалко…

— Да что, насовсем, что ли! — убеждал брат. — Да было бы хоть далеко!.. Двадцать верст — эка! Ну, приедешь когда, попроведуешь… До Нового года-то пускай поживет. Не даст он вам тут дело наладить, не даст. А наладить надо. И зря ты про мужика так думаешь, зря. Хороший мужик…

— Да больно уж он какой-то…

— Какой? А тебе что, красавца кудрявого…

— Да не красавца! У него же разговоров больше нету: пить бросил да мебель покупает.

— Ну и что, хорошее дело.

— Да что же — все об одном да об одном.

— Ну, рад, что бросил, вот и говорит про это. Потом, не знаю, конечно, но ему тоже, наверно, охота с лучшей стороны себя показать. Вот — мебель покупает. Бабам же нынче что — лишь бы не пил да деньги зря не мотал. Вот он и жмет на это. Его тоже понять надо. Мой тебе совет: не торопись с выводами. Подожди. А Витьку я заберу. И не переживай: хуже не будет. Будет только лучше.

— У тебя у самого там тесно…

— Ничего.

— Да Нюра бы не осердилась. Скажет — во-от, еще племянника привез. Своих мало!

— Ну и дура будет, если так скажет. Да и не скажет сроду — поймет. Давай, нечего думать. Испортим парня. А так — мы его счас оторвем от всяких его дружков да от улицы, он волей-неволей за книжки сядет. Пусть поживет в деревне, пусть… Давай, собирай его — прямо счас и поедем. Чего тянуть-то? Да и мне надо сегодня же вернуться… Давай. Где он?

— Там.

Дядя Коля заглянул в комнату.

— Да где?

— Нету?! — испугалась мать. — Мать пресвятая Богородица!.. Здесь был!

Дядя Коля подошел к окну, тронул створки — они распахнулись.

— Не пужайся — здесь он где-нибудь. В окно вылез.

Мать кинулась сразу к Юрке.

Витька был там. Юрка и Витька сидели на лавочке, дед лежал на печке, но не хворал, а так — погреться залез. Молчали.

Быстро вошла встревоженная мать.

— Витька… Здравствуйте! Ох, Витька… — Мать

успокоилась, но еще не могла отойти от быстрой ходьбы. — Что же ты ушел, сынок? Там дядя Коля ждет…

Витька, Юрка и старик молчали.

— Пойдем домой. — Матери стало неловко, потому что она почувствовала в их молчании суд себе.

— Что, Витька… в ссылку ссылают? — сказал старик.

— В какую ссылку?! — вспыхнула мать. — Что ты, дедушка, говоришь-то!

— Да я шутейно, — успокоил старик. — Так я… болтанул. В гости он поедет. Хорошее дело.

— Пойдем, Витя, — опять сказала мать.

Витька сидел. Молчал.

— Я не в осуждение говорю, — продолжал старик. — Кого осуждать? Такая теперь жизнь. Но вот раньше понимали: до семнадцати годов нельзя парня из дома трогать. У нас тада вся деревня на отхожий промысел ходила… И вот, кто поумней был — отцы-то, те до семнадцати лет сына в город не отпускали. Как ушел раньше, так все: отстал человек от дома. Потому что — не укрепился, не окреп дома, не пустил корешки. А как раньше время оторвался, так все: начинает его крутить по земле, как лист сухой. Он уж и от дома отстал,

и от крестьянства… А потому до семнадцати, что надо полюбить первый раз там, где родился и возрос. Как полюбил на месте — дома, так тебе это и будет — родина. До самой твоей смерти. Тосковать по ей будешь…

— Чего ты, дедушка, мелешь лежишь! — осердилась мать. — «Полюбил», «не полюбил»… Чего попало! Пойдем, Витька.

Витька встал… Подал Юрке руку.

— Пока.

— До свиданья. Пиши.

— Ладно. Ты тоже пиши. До свиданья, деда.

— До свиданья, Витька. Не забывай нас.

— Господи, прямо как на войну провожают… — не могла скрыть удивления мать. — Или, правда, — на заработки куда. Он едет-то — двадцать верст отсюда! К дяде родному.

— Это хорошо, — опять сказал старик. — Чего же?

Потом, когда шли по улице, мать сказала:

— Тебе там хорошо будет, Вить.

Витька молчал.

— Неохота?

Витька молчал.

Мать тоже замолчала.

Зато дома мать выпряглась.

— Никуда он не поедет, — заявила она брату с порога. — Не пущу. Вот.

Дядя засмеялся.

— Ну, конечно, не надо: а то он там… потеряется. Заблудится. Волки его съедят… Витька, а ты-то чего? Тоже, как баба, елки зеленые! Чего ты? Мужик ты или не мужик?..

Ехали в деревню к дяде в легком коробке, сытая сильная лошадь бежала податливо. Коробок мягко качался на рессорах.

— Витька, почему ты не учишься, как все люди, — хорошо?

— Все, что ли, хорошо учатся! У нас в классе семь двоечников.

— А тебя разве самолюбие не заедает, что ты попал в эту семерку?

Витька промолчал на это.

— И все семь — мальчишки? Или и девчонки есть?

— Одна. Мы ее жучим, чтоб она исправлялась. Она бестолковая.

Дядя захохотал.

— Дак а себя-то… ха-ха-ха!.. Себя-то чего не жучите? О какие!.. А вы-то чем умнее — такие же двоечники, как она. А? Витьк?

— Она к нам не касается. Она же работать не

пойдет.

— Во-он вы куда-а!.. — понял дядя. — Вот оно что. Та-ак. Ну и кем, например, ты хочешь работать? Когда подрастешь мало-мало.

— Шофером.

Дядя даже сплюнул в огорчении.

— Дурак! Вот дурак-то! Это вас кто-нибудь подговаривает там? Или вы сами придумали — с работой-то?

— Сами.

— Вот долдоны-то! А учителя знают про ваш уговор?

— Нет. По восемь классов мы как-нибудь кончим…

— Тьфу! — расстроился дядя. — Хоть поворачивай и выдавай всю эту… шайку. Ты думаешь, шофером — хитрое дело? Это ведь кому уж деваться некуда, тот в шофера-то идет. Голова садовая! Ну, ничего, ничего! Я возьмусь за тебя. Шофером!.. Да это уж кого приперло: грамотешки нет — ну, в шофера. А так-то его бы черт туда затолкал, в шофера-то. А тебе… Ну, ничего, я тебя направлю на путь истинный. Ты у меня пятерочник будешь — на удивление всем.

А ехали лесом, воздух в лесу был зеленый. Тишина пугала. Витьке было интересно… И

грустно.

Ох, то-о… —

запел вдруг дядя негромко, задумчиво, -

…То не ве-ете-ер ве-етку клонит,

Ох, да не дубра-авушка-а шумит:

То-о мое, ох, мое сердечко сто-онет,

Как, ох, как осе-енни-ий лист дрожи-ит…

И замолчал. И задумался.

— Эх, Витька-а, — сказал дядя невесело, — махнулся б я с тобой годами. Эх, и махнулся бы — не глядя! Я б — не то что учиться, я бы черту рога свернул. Знаю теперь, как их свернуть можно, только… Но нам, Витька, война дорогу пере-ехала. Война, будь она проклята. Не война, так я б теперь высоко-о летал. Да-а… А ты учиться не хочешь. Глупыш ты такой.

— Мама же вон не воевала, а тоже не выучилась.

— Мама не воевала, зато с голоду пухла здесь… Мама лет с пятнадцати работать пошла. Чего ты на маму киваешь? Счас не то время. Счас ты бо-ольшого дурака сваляешь, если не выучишься. Большого, Витька. Попомни мое слово.

…Приехали в деревню затемно.

Распрягли во дворе лошадь, дали ей овса.

— Ну, пойдем знакомиться… Не робей, там все свои.

В большой прихожей избы сидела за столом одна только круглолицая, ясноглазая, чем-то отдаленно напоминающая Витькину мать девушка, учила уроки.

— Знакомьтесь, брат с сестрой, — сказал дядя Коля.

— Это Витя? — радостно спросила девушка.

— Витя. Собственной персоной. — Дядя разделся, взял у Витьки чемодан. — Раздевайся, Витька, будь как дома. Где все-то? Мать…

— Телевизор у Баевых смотрят.

— А наш чего же?

— Опять сломался. Раздевайся, Витя! Давай, я тебе помогу. Ну?.. Меня Ольгой зовут… — Ольга помогла Витьке снять пальтишко. Была она рослая, красивая и очень какая-то простая и приветливая. Витьке она очень понравилась.

— Надо же: такие глаза, и парню достались! — засмеялась Ольга.

Глаза у Витьки, правда, девичьи: большие, синие. Витька смутился. Нахмурился.

— Ты сперва не глаза разглядывай, — строго

сказал отец, — а давай-ка накорми нас. Потом уж глаза разглядывай. А потом сделаешь мне его отличником. Срок — три месяца.

В городке дела хоть медленно, но подвигались к завершению.

В одно воскресенье Владимир Николаич пригласил Грушу к себе домой.

Шли принаряженные по улицам городка.

— Меня тут… некоторые знают… — предупредил Владимир Николаич, — могут окликнуть или позвать… куда-нибудь.

— Куда позвать?

— В пивную. Не надо обращать внимания. Ноль внимания. Я их больше никого не знаю, оглоедов. Чужбинников. Я сейчас опять на почете стал… Меня в приказах отмечают. Они злятся. Им же ведь все равно: уровень, не уровень — лезут!..

— А самого-то не тянет больше к ним?

— К ним?! Я их презираю всех до одного!

— Хорошо, — искренне похвалила Груша. — Это очень хорошо! Теперь жить да радоваться.

— Я и так пропустил сколько времени! Я бы уж теперь главным был.

— А теперь-то еще опасаются пока главным-то ставить?

— Я думаю, что уже не опасаются. Но дело в том,

что у нас главным работает старичок… Он уже на пенсии вообще-то, но еще работает, козел. Ну, вроде того, что — неудобно его трогать. Но думаю, что внутреннее решение они уже приняли: как только этот козел уйдет, я занимаю его кабинет.

Пошли через городской парк.

Там на одной из площадок соревновались городошники. И стояло много зрителей — смотрели.

Владимир Николаич и Груша остановились тоже, посмотрели…

— Делать нечего, — негромко сказал Владимир Николаич, трогаясь опять в путь.

— А у вас, Владимир Николаич, я как-то все не спрошу, родные-то здесь не живут?

— Здесь! — почему-то воскликнул Владимир Николаич. — Тут вот в чем дело: они все на известном уровне, а я — отстал, когда принялся злоупотреблять-то. Ну, и… наметилось такое охлаждение. — Владимир Николаич говорил об этом, не сожалея, не огорчаясь, а как бы даже злясь на этих, которые «на известном уровне». — Но они об этом еще крупно пожалеют. Я им не… это… не мальчик, понимаешь, которого можно сперва не допускать к себе, потом, видите ли, допустить. У меня ведь так: я молчу, молчу, потом ка-ак покажу зубы!.. Меня же вот в районе-то

— все же боятся. Как выезжаю куда с ревизией… А дело в том, что меня иногда как сильного бухгалтера просят из других учреждений съездить обревизовать на местах. Как приезжаю, так сразу говорят: «Дятел прилетел!» Страх и уважение нагоняю. Меня же ничем не купишь. Сколько уж раз пытались: то барана подсунут, то намекнут: мол, шифоньер по заказу сделаем или книжный шкаф… Фигу! А один раз поехал в промартель, тут вот, километров за сорок, ну, сижу в конторе. Приходят: «Владимир Николаич, мы тут валенки хорошие катаем… Может, скатать?» Что ж, давайте, говорю. Я заплачу по прейскуранту, все честь по чести. Это не возбраняется. Ладно. Через два дня приносят валенки. Так они что сделали: чтоб угодить мне, взяли да голенища-то несколько раз — вот так вот — изогнули, изогнули… Раза в три слой получился.

— Как бурки?

— Как бурки, только это не бурки, а нормальные валенки, но с голенищами такая вот история. Ладно. Я помалкиваю насчет голенищ. Сколько, спрашиваю, стоит? Да ничего, мол, не надо. Кэ-эк я дал счетами по столу, как заорал: цена?! Полная стоимость по прейскуранту! И — развернуть голенища, как у всех трудящихся!.. Я вам покажу

тут!..

Прохожие, некоторые, стали оглядываться на них — Владимир Николаич всерьез кричал.

— Потише, Владимир Николаич, — попросила Груша. — А то оглядываются.

— Да, да, — спохватился Владимир Николаич. — Это не очень интеллигентно. Горячность чертова…

И вот пришли они домой к Владимиру Николаичу.

Этакая уютненькая квартирка в пятиэтажном кирпичном ковчеге… Вся напрочь уставленная и увешанная предметами.

— Ну-те-с… вот здесь мы и обитаем! — оживленно сказал хозяин.

И стал вежливо, но несколько поспешно предлагать Груше: снять плащик шуршащий, болонью, сесть в креслице, полистать журнал с картинками — с журнального столика на гнутых ножках… Вообще дома он сделался суетливым и чего-то все подхихикивал и смущался. И очень много говорил.

— Раздевайтесь. Вот так, собственно, и живем. Как находите? Садитесь. Я знаю, вы сейчас скажете: не чувствуется в доме женской руки, женского глаза. Что я на это скажу? Я скажу: я знаю! Не

хотите? — журналишка… Есть любопытные картинки. Как находите квартирку?

— Хорошо, хорошо, Владимир Николаевич, — успела сказать Груша.

— Нет, до хорошего тут еще… Нет, это еще не называется хорошо. — Владимир Николаевич налаживал стол: появилась неизменная бутылка шампанского, лимоны в хрустальной вазочке, конфеты — тоже в хрустальной вазочке. — Хорошо здесь будет… при известных, так сказать, обстоятельствах.

— Холодильник-то как? В очереди стояли?

— В очереди. Мы вместе в очереди-то стояла, а когда разошлись, я сходил да очередь-то переписал на новый адрес — на себя. Она даже не знает — ждет, наверно. — Владимир Николаич посмеялся. — Ругает, наверно, советскую власть… Прошу! Сейчас мы еще музыку врубим… — Владимир Николаич потрусил в другую комнату и уже оттуда сообщил: «Мост Ватерлоо»!

И из той комнаты полилась грустная, человечнейшая мелодия.

Владимир Николаевич вышел довольный.

— Как находите? — спросил.

— Хорошо, — сказала Груша. — Грустная музыка.

— Грустная, — согласился Владимир Николаич. — Иной раз включишь один, плакать охота…

Груша глянула на него… И что-то в лице ее дрогнуло — не то жалость, не то уважение за слезы, а может, — кто знает? — может, это любовь озарила на миг лицо женщины.

— Прошу! — опять сказал Владимир Николаич.

Груша села за стол.

— Нет, жить можно! — воскликнул Владимир Николаич. И покраснел. Волновался, что ли. — Я так скажу, Агриппина Игнатьевна: жить можно. Только мы не умеем.

— Как же? Вы говорите, умеете.

— В практическом смысле — да, но я говорю о другом: душевно мы какие-то неактивные. У меня что-то сердце волнуется, Груша… А? — Владимир Николаич смело воткнулся своим активным взглядом в лицо женщины, в глаза ей. — Груша!

— А?

— Я волнуюсь, как… пионер. Честное слово.

Груша смутилась.

— Да чего же вы волнуетесь?

— А я не знаю. Я откуда знаю? — Владимир Николаич с подчеркнутым сожалением перевел взгляд на стол, налил в фужеры шампанского. — Выпьем на брудершафт?

— Как это? — не поняла Груша.

— А вот так вот берутся… Дайте руку. Вот так вот берут, просовывают, — Владимир Николаич показал как, — и выпивают. Вместе. М-м?

Груша покраснела.

— Господи!.. Да для чего же так-то?

— А вот — происходит… тесное знакомство. М-м?

— Да что-то я… это… Давайте уж прямо выпьем?

— Да нет, зачем же прямо? Все дело в том, что тут образуется кольцо.

— Да неловко ведь так-то.

— Да чего тут неловкого?.. Ну, давайте. Смелей! Музыка такая играет… даже жалко. Неужели у вас не волнуется сердце? Не волнуется?

— Да нет, волнуется… Господи, чего говорю-то?.. Зачем говорить-то об этом?

— Да об этом целые книги пишут! — взволнованно воскликнул Владимир Николаич. — Поэмы целые пишут.

Груша все никак не могла уразуметь, почему надо выпить таким заковыристым образом.

— Ну?.. — торопил Владимир Николаич. Он и правда волновался. Но жесты его были какие-то неуверенные, незавершенные. — Ну? А то шам-

панское выдыхается.

— Да давайте прямо выпьем, какого лешего мы будем кособочиться-то?

— Так образуется два кольца. Неужели непонятно? После этого переходят на «ты».

— Ну и перейдем на «ты»… без этих фокусов.

— Мы сломаем традицию. Традицию не надо ломать. Смелей!.. Просовывайте сюда вот руку… — Владимира Николаича даже слегка трясло. — Музыка такая играет!.. Мы ее потом еще разок заведем.

— Вот наказание-то! — воскликнула Груша. И засмеялась.

Витьку принялись подгонять в учебе сразу три отличницы: сестра Оля и две ее подружки, Лидок и Валя. Все девушки рослые и, как показалось Витьке, на редкость скучные. Особенно Витька невзлюбил Лидок. Лидок без конца сосала конфеты и поглаживала Витьку по голове. Витька стряхивал ее руку и огрызался. Девушки смеялись.

— Ну! — скомандовала Оля. — Повторим домашнее задание.

— Хоть уж в воскресенье-то… — попробовал было увильнуть Витька. Но Оля была непреклонна:

— Никаких воскресений! Ты у нас будешь…

Циолковским.

— Нет, он у нас будет Жолио Кюри. — Лидок погладила Витьку по голове. — Верно, Витя?

— Да иди ты! — Витька так тряхнул головой, что у него шея хрустнула.

Девушки засмеялись.

— Не хочет. А кем же ты хочешь, Витя?

— Золотарем.

Лидок не знала такой профессии. Решила, что это что-то связанное с золотом.

— Ну, Витя, это тяжело. Это где-то в Сибири — там холодно.

Витя, в свою очередь, посмеялся от души. И не стал объяснять невестам, кто есть золотарь.

Сели за стол.

— Ты таблицу умножения знаешь, конечно? — начала Лидок.

— Знаю, конечно.

— Перемножь вот эти цифры. Только не сбейся.

Витька умножил скучное число на число еще более скучное, получил скучнейший результат.

— На.

— Пра-ально. Еще. Тренируйся больше.

— Ну и дура ты! — не выдержал Витька.

Лидок сделала большие глаза и перестала со-

сать конфетку.

— Витя, да ты что?! — изумилась сестра Оля. — Разве так можно?

— А чего она?..

— Чего она?

— «Тренируйся»... Кто же тут тренируется? Тренируются на турнике или в футбол.

— А зачем же обзываться-то? Нехорошо это.

— А еще — городской! — вставила Валя.

— Они, городские-то, хуже наших, — заметила Лидок. — Получают там раннее развитие... и начинают. — Она опять принялась сосать конфетку. — Давай дальше. Умножь от это на это.

Витька стал умножать.

Лидок склонилась над ним сзади и следила.

— Непра-ально, — сказала она. — Семью осемь — сколь-ко?

— Пятьдесят шесть.

— Ну... А ты сколько пишешь?

— Шесть пишем... А!

— Ну, о-от.

Витька принялся снова вычислять.

Лидок стояла над ним.

— Та-ак, та-ак...

— Перестань сосать свои конфеты! — взорвался Витька.

Лидок толкнула ладошкой Витьку — носом к тетрадке.

— Умножай.

— Дура, — сказал Витька.

— Папа! — позвала сестра Оля.

Из горницы вышел дядя, строгий и озабоченный: он составлял какой-то отчет, на столе в горнице лежал ворох всяких ведомостей.

— Как же ему помогать? — пожаловалась Оля. — Он на нас говорит — «дуры».

— Зайди ко мне, — велел дядя Коля.

Витька без робости зашел к дяде в горницу.

— Вот что, дорогой племянничек, — заговорил дядя, стоя посреди горницы с бумажкой в руке, — если ты будешь тут язык распускать, я с тобой по-другому поговорю. Понял? Я тебе не мать. Понял?

— Понял.

— Вот так. Иди извинись перед девками. Они целые невесты уж, а ты… Сопляк какой! С ним же занимаются, и он же начинает тут, понимаешь… Иди.

Витька вышел из горницы. Сел на свое место. Девушки неодобрительно посматривали на него.

— Попало? — спросила Лидок.

Витька взял чистый лист бумаги… подумал, гля-

дя на крупную Лидок… И написал размашисто, во весь лист: «ФИФЫЧКА». И показал одной Лидок.

Лидок тихонько ахнула, взяла лист и тоже что-то написала. И показала Витьке.

«ШИРМАЧ ГОРОДСКОЙ» — было написано на листе.

Витька не понял, что это такое. Взял новый лист и написал: «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».

Лидок фыркнула, взяла лист и быстро написала: «ТЫ ЕЩЕ НЕ ДОРОС».

Витька долго думал, потом написал в ответ: «СВЕЖАСРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО ДУБ».

Лидок быстро нагнулась и выхватила лист у Витьки. И пошла было с ним в горницу.

— Ну давай умножать-то?! — воскликнул Витька. — Чего ты бегаешь-то туда-сюда?

Какой-то родственник Владимира Николаича защитил диссертацию. По этому случаю давался банкет в ресторане. Приглашены были и Владимир Николаич с Грушей.

Опять шли улицей городка. Опять было воскресенье; где-то из громкоговорителя рвалась железная музыка.

Шли под ручку. И были нарядны пуще прежнего.

— Я вот этого знаю, — негромко сказал Вла-

димир Николаич. — Только не оглядывайся! Попозже оглянись.

Груша прошла несколько шагов и оглянулась.

— Ну? И что?

— Он раньше в Заготконторе работал… Мы однажды приехали с ним в командировку, он говорит: «У меня тут приятель в доме отдыха, пойдем к нему». Ну, пошли к приятелю… Выпили, конечно. И вот этот, который сейчас прошел-то, Струков его фамилия, берет гитару и начинает петь «Не шей ты мне матушка». Потом идет в прыгательный бассейн… А там какие-то соревнования по прыжкам были. Он идет с гитарой на самую вышку и прыгает солдатиком — и поет.

— Да он что?!

— И что характерно: даже когда летел, он умудрялся играть на гитаре. Потом вынырнул, вылил из гитары воду и все равно продолжал играть и петь.

— В воде-то? Как же?

— Ногами работал… Ну, конечно, сообщили на работу. Приходил ко мне: «Напиши, как свидетель, что я случайно сорвался».

— Ну, и ты что?

— Ничего. Что я, дурак, что ли? Он случайно зашел на вышку, случайно прыгнул, случайно

плавал в бассейне и орал… Все случайно! Кто поверит? Не стал я ничего писать.

— Ну, выгнали? С работы-то?

— Наверно. Не знаю, не встречал его после. Наверно, выгнали. Таких спортсменов долго не держат.

— Вот дурак-то!

— Не дурак! Какой он дурак? Это так называемые духари: геройство свое надо показать. Я, если напивался, сразу под стол лез…

— Под стол?

— Не специально, конечно, лез, но… так получалось. Я очень спокойный по натуре.

В ресторане для банкета был отведен длинный стол у стены.

Приглашенные, некоторые, уже сидели за столом. Сидели чинно, прямо. Строго поглядывали на другие столики, где ужинали, выпивали, курили, разговаривали…

Играла музыка, низенький, толстый человек пел итальянскую песню.

— Гордо, но — с уважением, — учил второпях Владимир Николаич, пока они с Грушей шли через зал к банкетному столу. — Станут интересоваться, где работаешь, — фабрика тонкорунного волокна. Все. Кем — неважно. В поведении мож-

но быть немного небрежнее. Вон та, в голубом платье… Да вон, вон!.. — зашипел Владимир Николаич, показывая глазами. — Возле самовара-то!

— Ну?

— Эту опасайся насчет детского воспитания: она в садике работает, какая-то там начальница, — загрызет…

— За что?

— Все. — Владимир Николаич широко заулыбался, полу-поклонился всем и пошел здороваться с каждым отдельно.

Груша следовала за ним. На нее смотрели вопросительно, строговато. Женщина в голубом платье посмотрела даже подозрительно. Груша очень смущалась.

Наконец они сели на отведенное им место. Получилось — напротив женщины в голубом, а по бокам пожилые и не очень пожилые, серьезные люди, явно не завсегдатаи ресторанные, больше того, кажется, презирающие всех, кто в тот вечер оказался в ресторане.

Смотрели в зал, переговаривались. Делали замечания. Не одобряли они все это — весь этот шум, гам, бестолковые разговоры.

— А накурено-то! Неужели не проветривается?

— Дело же в том, что тут специально одурманивают себя. Зачем же проветривать?

— А вон та, молоденькая… Вон-он, хохочет… Заливается!

— С офицером-то?

— Да. Вы посмотрите, как хохочет! — будущая мать.

— Почему будущая? У них сейчас это рано…

— Это уж вы меня спросите! — воскликнула женщина в голубом. — Я как раз наблюдаю… результат этого хохота.

— А где наш диссертант-то? — спросил Владимир Николаич.

— За руководителем поехал.

— За генералом, так сказать?

— За каким генералом?

— Ну, за руководителем… Я имею в виду Чехова, — пояснил Владимир Николаич. И повернулся к Груше: — У него руководитель — какой-то известный профессор.

— А ты говоришь, генерал.

— Ну, генерал — в переносном смысле, — даже рассердился Владимир Николаич. Но говорил он негромко. — Я шучу так. Ты тоже пошути с кем-нибудь… Сострι чего-нибудь. Чего сидишь, как…

Груша, изумленная таким требованием, по-

смотрела на своего жениха… И ничего не сказала.

— Немножко будь оживленнее, — уже мягче сказал Владимир Николаич. — Не теряйся, я с тобой. Покритикуй алкоголиков, например.

Груша молчала.

А вокруг говорили. Подходили еще родственники и знакомые диссертанта, здоровались, садились и включались в разговор.

— Кузьма Егорыч, — потянулся через стол Владимир Николаич к пожилому, крепкому человеку, — не находишь, что он слишком близко к микрофону поет?

— Нахожу, — кивнул пожилой, крепкий. — По-моему, он его сейчас съест.

— Кого? — не поняли со стороны.

— Микрофон.

Ближайшие, кто расслышал, засмеялись.

— Сейчас вообще мода такая: в самый микрофон петь. Черт знает, что за мода.

— Ходит с микрофоном! Ходит и поет.

— Шаляпин без микрофона пел…

— Шаляпин! Шаляпин свечи гасил своим басом, — сказал пожилой, крепкий. Сказал так, как если бы он лично знавал Шаляпина и видел, как тот гасил своим басом свечи.

— А вот и диссертант наш! — сказали родные.

К столу пробирался мимо танцующих мужчина лет сорока, гладко бритый, в черном костюме. И с ним — пожилой, добрый, несколько усталый, очевидно, профессор.

Встали, захлопали в ладоши. Женщина в голубом окинула презрительным взглядом танцующих бездельников.

— Прошу садиться, — сказал диссертант.

— А фасонит-то! — тихо воскликнул Владимир Николаич. — Фасонит-то! А сам на трояк, наверно, с грехом пополам натянул. Фраер.

— Откуда ты такие слова знаешь? — удивилась Груша.

— Боже мой! — в свою очередь удивился Владимир Николаич. — Выпивать-то с кем попало приходилось. Нахватался, так сказать.

Захлопали бутылки шампанского.

— Салют! — весело сказал один курносый, в очках. — В честь свежеиспеченного кандидата.

— Товарищ профессор, ну, как он там? Здорово плавал?

Профессор вежливо улыбнулся.

— За здоровье нового кандидата! — зашумели.

Кандидат встал.

— За здоровье наших дам! — сказал он.

Это всем очень понравилось.

Выпили. Потянулись к закуске. Разговор не прекращался.

— Огурчики соленые или в маринаде?

— Саша, подай, пожалуйста, огурчики. Они соленые или в маринаде?

— В маринаде.

— А-а, тогда не надо. У меня сразу изжога будет.

— Тебе подать в маринаде? — спросил Владимир Николаич Грушу.

— Подай.

— Саша, подай-ка, пожалуйста, в маринаде. Что там за огурчики?..

— А танцуют ничего. А?

— Сергей… уже отметил. Слышите?! Сергей уже отметил: «Танцуют ничего». Засмеялись.

— Подожди, он сам скоро пойдет. Да, Сергей?

— Можно. А что?

— Неисправимый человек, этот Сергей!

Владимир Николаич потыкал вилкой в огурчики, в салат… Потянулся поговорить с Кузьмой Егорычем. Но его как-то не замечали.

Поднялся курносый в очках.

— Позвольте?!

— Тише, товарищи!

— Дайте тост сказать! Двинь, Саша.

— Товарищи! За дам уже выпили… Это правильно. Но все-таки мы собрались здесь сегодня не из-за дам…

— Да, не из-за их красивых глаз.

— Да. Мы собрались… приветствовать нового кандидата, нашего Вячеслава Александровича. Просто, нашего Славу! И позвольте мне тут сегодня скаламбурить: слава нашему Славе!

Посмеялись, но недружно.

Курносый посерьезнел.

— Мы надеемся, Слава, что ты нас… так сказать, не подведешь в своей дальнейшей деятельности.

Захлопали. Курносый сел было… Но тут же вскочил.

— И позвольте, товарищи… Товарищи, и позвольте также приветствовать и поздравить, так сказать, руководителя, который направлял, так сказать, и всячески помогал, и являлся организатором руководимой идеи! За вас, товарищ профессор!

Опять захлопали. Дружно захлопали.

Еще закусили. Но больше налегали на разговоры.

Кузьма Егорыч и человек с золотыми зубами наладили через стол разговор с укорами. А так

как гремела музыка, то и они тоже говорили очень громко.

— Что не звонишь? — спросил Кузьма Егорыч.

— А?

— Не звонишь, мол, почему?!

— А ты?

— Я звонил! Тебя же никогда на месте нет.

— А я виноват, что меня нет на месте?

— Ну, так позвонил бы хоть! Я-то на месте.

— А я звонил вам, Кузьма Егорыч, — хотел влезть в разговор Владимир Николаич.

— А? — не расслышал Кузьма Егорыч.

— Я, говорю, звонил вам!

— Ну и что? А чего звонил-то?

— Да так. Хотел… это…

Но Кузьма Егорыч уже отвернулся.

— А где бываешь-то? В командировках, что ли? — опять стал допрашивать он человека с золотыми зубами.

— В командировках, — откликнулся тот. Но говорить ему не хотелось, он больше посматривал на танцующих.

— Ну, как? — спросил Владимир Николаич Грушу. — Ничего?

— Ничего, — сказала Груша. — Долго тут будем?

— А что?

— Да ничего, просто спросила.

— Не нравится, что ли?

— Нравится.

— Я уж думал, тебя перевели куда! — кричал Кузьма Егорыч.

— Никуда меня не перевели.

— Думаю, повысили его, что ли?!

— Дожидайся, повысят! Скорей повесят.

— Ха-ха-ха-ха!..

— Ну, что, Таисья Григорьевна? — обратился Владимир Николаич к женщине в голубом. Но женщина в голубом постучала вилкой по графину и сказала всем:

— Товарищи, давайте предложим им нормальный, хороший вальс! Ну что они… честное слово, неприятно же смотреть!

— В чужой монастырь, Таисья Григорьевна, со своим уставом не ходят.

— Почему не ходят? Мы же в своей стране, верно же? Давайте попросим сыграть вальс.

— Не надо. Не наше дело: пусть с ума сходят.

— А вот это… очень неправильное суждение! В корне неправильное!

— Да хорошо танцуют, чего вы? — сказал человек с золотыми зубами. — Я был бы помоложе,

пошел бы… подергался.

— Именно — подергался. Разве в этом смысл танца?

— А в чем?

— В кра-со-те, — отчеканила Таисья Григорьевна.

— А что такое красота? — все пытался тоже поговорить Владимир Николаич. — А, Таисья Григорьевна? Если вы находите, что, допустим, вот этот виноград…

— Нет, Алексей Павлыч, вы что, не согласны со мной?

— Согласен, согласен, Таисья Григорьевна, — сказал человек с золотыми зубами. — Конечно, в красоте. В чем же еще?

Владимир Николаич помрачнел.

— Пойдем домой? — предложила Груша.

— Подожди. Неловко. Поймут как позу.

— Саша, Саш!.. У тебя Хламов был? — разговаривали за столом.

— Был. Позавчера.

— Ну, как он?

— Он в порядке!

— Да? Устроился?

— Да.

— Довольный?

— Что ты!..

— Пойдем, Володя, — еще сказала Груша.

Владимир Николаич вместо ответа постучал вилкой по графину.

— Друзья! Минуточку, друзья!.. Давайте организуем летку-енку? В пику этим…

— Да что они вам?! — вконец рассердился человек с золотыми зубами. — Люди танцуют — нет, надо помешать.

Владимир Николаич сел.

Помолчал и сказал негромко:

— Ох, какие мы нервные! Ах ты, батюшки!..

Взял фужер с шампанским и выпил один.

— Володя, ты что это? — встревожилась Груша.

— Какие мы все… воспитанные, но слегка нервные! — не мог успокоиться Владимир Николаич. — Зубы даже из-за этого потеряли.

Никто не слышал его. Их с Грушей как будто даже и не было за столом — никто с ними не общался, никому не было до них дела.

— Какие мы все нервные! Да, Таисья Григорьевна?! — повысил голос Владимир Николаич, обращаясь к женщине в голубом. — Воспитанные, но слегка нервные. Точно?

Таисья Григорьевна внимательно посмотрела на него.

— Нервные, говорю, все!.. — Владимир Николаич насильственно посмеялся.

— Что, опять? — спросила Таисья Григорьевна.

— А вы только не смотрите, не смотрите на меня таким… крокодилом-то: я же не в детсадике. Верно? Что вы на меня так смотрите-то?

К Владимиру Николаичу повернулись, кто сидел ближе и слышал, как он заговорил.

Владимир Николаич встал.

— Пойдем! — велел Груше.

И они вышли из-за стола… И пошли…

За столом замолчали. Смотрели вслед им.

Пробрались через танцующих…

Надели в гардеробе плащи…

И вышли из ресторана.

— Что с тобой? — спросила Груша.

Владимир Николаич молчал.

— Зачем надо было так уходить?..

— Помолчи! — резко сказал Владимир Николаич. Но спохватился, что — резко… Взял Грушу под руку. — Не сердись.

— Чего ты на них так?

— В гробу я их всех видел! — зло и громко сказал Владимир Николаич. И еще добавил: — В белых тапочках!

Витька ходил по избе и учил наизусть.

...Вот и солнце встает,
Из-за пашен блестит,
За морями ночлег свой покинуло,
На поля, на луга, на макушки ракит
Золотыми потоками хлынуло.
Едет пахарь с сохой, едет — песню поет,
По плечу молодцу все тяжелое...
Не боли ты, душа! Отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!

Витька передохнул и еще повторил:

Не боли ты, душа! Отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!

Подошел к окну и засмотрелся на улицу.

По улице, поднимая пыль, шло стадо коров... Коровы мычали. Хлопали ворота, впуская кормилиц. А где ворота не открывались, там коровы сами пробовали рогами поддеть их. Мычали.

Вошла сестра Оля.

— Что не учишь? — спросила.

— Я выучил. — Витька был настроен грустно.

— Проверим, — сказала Оля. Взяла учебник... — Какое задавали?

— «Утро».
— Давай. С выражением.
Витька стал читать:

Звезды меркнут и гаснут.
В огне облака,
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.
Птички солнышка ждут, птички песни поют,
И стоит себе лес…

— Здравствуй! — воскликнула Оля. — Поехал.
— Что?
— Куда заехал-то? «Дремлет чуткий камыш…».
— А-а!

Дремлет чуткий камыш. Тишь — безлюдье
вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая…

— Ладно. Еще что?
— Составить описание вечера в деревне.
— Составил?
— Составил.

— Читай.

Витька прочитал:

— «Вечер. Солнышко закатилось. Курицы залезли на длинные жердочки и заснули. Петух спел последний разок и тоже задремал. Ночью опять будет орать. Стало тихо. У нас в городе лучше».

— И все?

— Все.

Оля засмеялась.

— Вечером вместе напишем. Я сейчас в кино бегу. «Длинные жердочки». — Оля опять засмеялась. — На — письмо тебе от мамки.

Оля ушла, а Витька пристроился ближе к окну и стал читать письмо. Читал, и письмо слегка подрагивало в его руках…

Пришел дядя Коля с работы.

— Здорово, Витька. Что это?.. От мамки? Ну-ка, чего она там?

Дядя Коля стал читать… Нахмурился, помычал, покусал губу…

— Ну! — сказал он огорченно. — Так у нас ничего не выйдет: не успел отъехать, она уже… ночей не спит. Эдак она себе всю душу растравит и нам тут… Чего так-то уж?

Дядя Коля посмотрел на Витьку.

Витька пожал плечами. Промолчал.

— Ты, Витька, читать читай, а к сердцу всякие эти… слова не допускай. Она — женщина, а ты — мужик, должен быть крепче ее. Садись и напиши ей: ты, мол, мамка, не блажи там, у меня, мол, все в порядке, и душу мне не береди такими письмами. Я сам ей напишу. Мы ее сюда в гости позовем. Пусть возьмет с недельку за свой счет и приедет. Ладно, Витька?

Витька кивнул головой — ладно.

— Не расстраивайся, — сказал дядя Коля. И ушел в горницу.

Витька посидел немного у окна… И вышел из избы.

…И ушел он за деревню, на косогор… Сел и стал смотреть и степь.

Вечер был серый, темное небо образовало над степью крышу. Под этой крышей было пасмурно, тепло и просторно. На западе сквозь тучи местами пробивалась заря. Ее неяркий светло-розовый блеск делал общую картину еще печальней. Стал накрапывать мелкий-мелкий теплый дождик. Витька свернулся калачиком и лег. Земля была тоже теплая. Витьке сделалось совсем грустно. Он думал о матери…

Он вспомнил, как мать разговаривает с предметами — с дорогой, с дождиком, с печкой… Когда

они шли в прошлом году из леса с грибами, она просила: «Матушка дороженька, помоги нашим ноженькам — приведи нас скорей домой». Или, если печка долго не разгорается, она выговаривает ей: «Ну, милая… ты уж сегодня совсем что-то… Чего раскапризничалась-то? Барыня какая». Витька любил мать, но они, к сожалению, не всегда понимали друг друга. Витьке, правда, очень хотелось быть шофером… А мать со слезами (вот еще не нравилось Витьке, что она часто плакала) умоляла его: «Учись ты ради Христа, учись, сынок! Ты видишь, такая теперь жизнь пошла — ученые-то вон как живут! Я осталась неученая, так хоть ты-то выучись. Нам с тобой надеяться не на кого». Этим ветеринаром, соседом, она все глаза протыкала Витьке. Когда он едет домой на своей машине, она всякий раз вздыхает и говорит: «Вот живет человек, Витька! Вот это — живет». Верно, что из-за этого Витька и выстегнул его свинье глаз. Левый. Два дня караулил ее у забора с рогаткой…

— Матушка степь, помоги мне, пожалуйста, — попросил Витька.

А в чем помочь, он сам хорошо не знал. Он хотел бы быть сейчас дома. А как это сделать?

Он незаметно заснул.

…Разбудил его дядя Коля.

Когда Витька проснулся, дядя Коля стоял над ним и снимал с себя брезентовый плащ. Все сеялся нехолодный мелкий дождик. Было совсем темно.

— Замерз? — спросил дядя Коля.

— Не…

— Нет… — Дядя Коля поднял Витьку и стал закутывать в плащ. Плащ громко шуршал, а дождик тихонько шумел. — Ох, Витька, Витька… обормот ты мой милый… — Он взял Витьку на руки и понес. Тут только увидел Витька, что рядом стоит конь. — Садись.

Витька устроился на теплой конской спине. Дядя Коля сел впереди в седло.

— Ну, что? — спросил он, когда поехали.

— Ничего.

— Тоскуешь без мамки?

Витька промолчал.

— Что мне с вами делать? — вздохнул дядя Коля. — Охота помочь, и не знаю как. Вот же судьба, черт ее!.. Выпала. Стрел бы где-нибудь папу твово… родимого, я бы ему сказал пару ласковых. Дурак. Себе жизнь загробил и другим… Дурак, — еще раз крепко сказал дядя Коля. — Нашел радость в жизни. Пьют же люди, но не так

же, чтобы все за ее, гадину, отдавать. Все, самое дорогое…

Дядя Коля закурил и долго молчал.

Ехали шагом.

Дождик перестал сеяться. Кое-где показались на небе звезды. По селу лаяли собаки. Разговаривали невидимые люди, слышался молодой беспечный смех. Близко где-то били палкой по чему-то мягкому, по перине, наверно, и приговаривали:

— Ты гляди, что делается — пыли-то! Пыли-то!

— Ничего, Витька… — заговорил дядя Коля. — Этот дядя Володя-то, он неплохой мужик. Пить хоть не будет. Не витязь, конечно… но уж… что теперь? Черт его бей — уж хоть такой: все хоть поможет вам. Все мужик в доме…

Витька представил почему-то, как дядя Володя танцует в их доме летку-енку. За него — сзади — держалась мать и тоже подпрыгивала. А за матерью подпрыгивали дед Наум, Юрка, разные молодые тети, подружки материны…

…Когда приехали домой, у Витьки окончательно созрел план действий.

У ворог дядя Коля соскочил с коня, открыл одну воротину, впустил Витьку.

— Расседлай его и насыпь овса. Седло в сенцы занеси — дождь, наверно, опять будет. Я пошел на

собрание. Сам раздевайся и лезь сразу на печку.

Дядя Коля пошел от ворот и сразу пропал из виду, растворился в чернильной темноте.

Витька подождал, когда совсем затихнут его шаги, выехал из ворот, подстегнул коня…

Мерин разохотился в беге, нес ровно, быстро. Витька сперва ждал, что он где-нибудь споткнется, потом успокоился. Дорогу конь находил сам.

…К рассвету Витька приехал домой.

Мать спала, когда Витька въехал во двор. Она услышала стук копыт, вскочила. Прильнула лицом к окну.

Витька соскочил с коня, набросил повод на штакетину, постучал в дверь.

— Кто там? — Мать не на шутку испугалась.

— Я, — сказал Витька.

— Витя?! — Мать трясущимися руками долго отодвигала засов и все повторяла: — Господи, да что же это?.. Господи!.. Витенька, родной ты мой-то! — Она обняла сына, прижала к себе. — Господи!.. Да ты как? А дядя Коля где?

— Я один.

— Оди-ин?! — От испуга мать даже запела. — Да ты что? Да как же? Да говори ты скорей, Господи!.. Не случилось ли чего с вами дорогой-то?!

— Нет. — Витька прошел в комнату, дождался,

когда мать включит свет. Огляделся — искал, видно, признаки присутствия в доме чужого человека.

Мать во все глаза смотрела на сына.

— Да что случилось-то, Витька?!

— Ничего. — Витька присел на краешек кровати, долго молчал. И мать молчала, смотрела на Витьку… Какой-то он был странный, повзрослевший, что ли.

— Мам… — Голос у Витьки чуть дрогнул. — Ты… замуж-то не выходи. Не надо. Я теперь послушный буду. Учиться… ладно уж — хорошо буду. Мне только захотеть — я сумею… — Витька говорил негромко, с трудом. Смотрел куда-то в сторону.

Мать вспыхнула горячим румянцем, посмеялась — совсем некстати…

Заговорила торопливо, фальшиво как-то — она что-то вдруг растерялась.

— Да тебе кто сказал, что я замуж-то выхожу? Во!.. Ты откуда взял-то? Ты что?

— Пойду коня расседлаю, — сказал Витька.

Когда он вышел, мать скоро натянула платьишко, покружилась по комнате, не зная, что сделать, потом села к столу и заплакала. Плакала и сама не понимала отчего: от радости ли, что сын помаленьку становится мужчиной, от горя

ли, что жизнь, кажется, так и пройдет… так и пройдет теперь.

Когда Витька вошел, она еще плакала.

Витька сел напротив матери… Неловко, бережно тронул ее по волосам — погладил.

— Не надо, мам.

— Я ничего, сынок. Я — так. Чаю хочешь?

— Я насовсем приехал…

— Ну и хорошо! Это хорошо, сынок. Я бы в субботу сама за тобой приехала. Плохо мне без тебя… Не могу.

…Когда Витька засыпал уже в своей маленькой горенке, в своей родной кровати, он слышал неясно: приехал дядя Коля. Обрывки разговора слышал.

— Да уж вижу, вижу — конь-то стоит. Отлегло от сердца… Чуток не рехнулся, ей-Богу, — гудел дядя Коля. — Ладно бы свой… А тут — вдвойне…

— Утром… не рассвело хорошо, слышу: стук — воротца стукнули…

— Да, главное, пришел домой, разделся, лег уж — я-то! Ну, спит, думаю. И мои — тоже — не хватились. А потом вспомнил: а чего же конь-то не заржал? А он у меня всегда: как прихожу откуда ночью, потихоньку всегда заржет. Соскочил да в сарай — нет коня…

— Я-то думала: вы вместе ехали-то. Думаю, задержался где…

— Думали, думали, — сказал полусонный Витька. — Я думал, ты думал, он думал… Мы думали.

Потом, совсем уж сквозь сон, едва-едва — слышал:

— Да почему? Почему? Ты можешь толком мне объяснить?

— Не могу. Сама толком не знаю: не лежит душа, и все. Хоть ты что! Сама себя уговаривала, убеждала — не могу. Лучше век одна буду жить, только… Нет! Нет, нет и нет!

— Во! — удивился дядя Коля. — Это даже суметь надо — так опротиветь за короткий срок. Чем уж он так насолил-то?

— Да, наоборот, все хорошо. Ни одного грубого слова… Нет, все хорошо. Только — нет, и все тут.

— Ну, на нет и суда нет. Насильно мил не будешь, не зря говорят. Ладно… Я думал, у вас выйдет что-нибудь… Ладно…

Дальше Витька не слышал. Заснул.

Проснувшись, Витька маленько поперебирал свое хозяйство: бильярдные шары, подковы, покрышку футбольного мяча, лампочку от автомобильной фары, зеркальце автомобильное… Все было на месте.

В прихожей комнате, на столе, лежала записка:

«Витя! Я поехала на базар. Поешь молоко и хлеб. Все в шкафу, скоро приду».

Витька открыл шкаф… Но есть не хотелось… Он вышел из дому.

Пошел к Юрке.

Старик и Юрка были дома. Очень обрадовались, увидев Витьку.

— О!.. Кто к нам пришел-то!

— Витька?.. Эгей! — смешно обрадовался старик. — На побывку, что ли?

— Совсем, — сказал Витька.

— Совсем? — удивился Юрка.

— Совсем. — Витька тоже был очень рад. Но он радость свою никогда особо-то не показывал. — Чего делаете?

— Чего делаем? — переспросил старик. — Мы тут, брат Витька, с разных сторон жизнь окружаем: я — сзади, он — спереду. Я себе гроб вот строгаю, вроде того, что досвиданькаюсь с ей, с жизней-то, а Юрка в лоб ей метит — переделать норовит. — Старик и правда строгал какие-то доски, но вид у него был вовсе не печальный. — Вот чем мы тут занимаемся, Витька.

Витька посмотрел на Юрку: правда ли, мол, что

гроб-то?! Юрка кивнул, что правда.

— Я уж тут убеждал, убеждал его — бесполезно, — сказал он.

— Нет, тут вы меня не убедите. В своем гробике буду лежать… Своими руками сделанный.

— Во дает! — сказал Витька.

— Я ее, каждую тесиночку-то, с лаской обделаю, аккуратно… Как жених в ем буду лежать!

— Да зачем?! — загорячился было Юрка. — Что за… дикость такая?

— Это не дикость. Какая дикость? У нас в деревне все старики так: кто мог, завсегда сам себе гроб делал. Что я, не знаю, какой мне гроб сделают? Тяп-ляп — и готово. Лежи потом… в хреновом гробу. Там сук вылезет, там трещина… На кой мне это надо? Я лучше сам… все тут по-людски сделаю.

— А что, заболел, что ли?

— Ничего подобного. С пенсии — опять заболею. А так — ни одно ребрушко еще не ноет. А гроб… Сделаю — пусть стоит, места-то не простоит. Вот так, ребятушки, так, орелики мои… Ничего тут удивительного нет: все помрем! Я уж, слава Богу, пожил. Да ишо поживем! Пенсия вон скоро… масла опять купим в магазине… — Старик искренне засмеялся. — По Юркиному учению — это масло.

Потом хворать полезу на печку…

— Вот логика! — сказал Юрка, тоже улыбаясь. — Железная. А чего ты приехал, Вить?

— Да этот гусь-то… он больше не будет ходить. Мама не велела больше.

— Да?

— Да.

— Давайте чай пить, раз такое дело! — весело сказал старик. Отложил рубанок, стряхнул с рубахи и со штанов стружки. — Счас медку принесем, яблоков… Заварим чай с парами. Слыхали такой — чай с парами?

— Нет. А как это?

— А вот счас сделаем. Это меня один сибиряк научил… У их там холода страшенные, вот они и выдумали чай с парами. Подмети пока, Юрка, а я за медом схожу. Подмети, чтоб и мы в чистоте посиживали и чаек попивали. Будем чаек попивать и беседовать.

Старик вышел, а Юрка взял веник и стал подметать.

— Хорошо в деревне? — спросил он.

— Хорошо. Только скучно.

— Ну, это ты… не понимаешь. Разве там скучно? Это ты один там оказался, поэтому тебе показалось скучно. А так-то там не скучно.

— Может быть. Мне здесь больше нравится.

— Ну, конечно, — согласился Юрка. — Хорошо, что ты приехал.

— Я там скучал без вас, — признался и Витька.

— Мы тоже тебя тут вспоминали…

Вошел старик.

— Вот и медок. Счас… загуляем, запьем и ворота запрем. Не журись, ребяты, — не пропадем!

Печки-лавочки

Накануне, ближе к вечеру, собралась родня: провожали Ивана Расторгуева в путь-дорогу. Ехал Иван на курорт. К морю. Первый раз в жизни. Ну, выпили немного — разговорились. Заспорили. Дело в том, что Иван, имея одну путевку, вез с собой еще жену Нюру и двух малых детей. Вот о том и заспорили: надо ли везти детей-то? Иван считал, что надо. Даже обозлился.

— Вот что я вам скажу, уважаемая родня: пеньком дремучим — это я сумею прожить. Я хочу, чтоб дети мои с малых лет развитие получили! Вот так. Не отдых мне этот нужен!.. Я вон пошел с удочкой, посидел на бережку в тенечке — и все, и печки-лавочки. Отдохнул. Да еще бутылочку в кустах раздавлю… Так? А вон им, — в сторону маленьких детей, — им больше надо. Они, к примеру, пошли в школу, стали проходить море — а они его живьем видели, море-то? Скажут, папка возил нас, когда мы маленькие были. Я вон отца-то почти не помню, а вот помню, как он меня маленького в Березовку возил. Вот ведь что запомнилось! Ведь тоже небось и ласкал,

и конфетку когда привозил — а вот ничего не запомнил, а запомнил, как возил с собой на коне в Березовку…

— А я тебе скажу почему, — заговорил Васька Чулков, двоюродный брат Ивана. — Это потому, что на коне.

— Что «на коне»?

— На коне возил, а не на мотоцикле. Поэтому ты и запомнил. Я вон своих вожу…

— Да это не поэтому! — зашумели на Ваську.

— Это ерунда! Какая разница — что на коне, что на мотоцикле?

— Сравнил козлятину с телятиной!

— Дайте мне досказать-то! — застучал вилкой по графину Иван. — Я для того и позвал вас — выяснить…

— Да не пропадут! — воскликнул дед Кузьма, храбрый старый матрос. — Что, в Америку, что ли, едут? В Россию же.

— Да шибко уж маленькие, прямо сердце заходится, — повернулась к нему теща Ивана, Акулина Ивановна. — Чего уж так зазудело-то?

— Он же говорит чего.

— Блажь какая-то…

— Да с грудными и то ездют.

— Да с грудными-то легче. Его накормил, он

и спит себе. А ведь тут, отвернись куда, они уж — под колесами.

— Ну уж — под колесами. Чего уж?.. Езжай, Ванька, не слушай никого.

— Нюр, — обратились к жене Ивана, — ты-то как? Чего молчишь-то?

— Да я прям не знаю… Он мне все мозги запудрил с этим морем. Я уж и не знаю, как теперь… Вроде, так-то, охота, а у самой душа в пятки уходит — боюсь.

— Чего боисся-то?

— А ну как да захворают дорогой?

— Чирий тебе на язык!

— В сумку, чтоб сухари не мялись, — в сердцах молвил языкастый Ванька. — Ворона каркнула во все воронье горло.

— А захворают, вы — так, — стала учить Нюру и Ивана одна молодящаяся бабочка не совсем деревенского покроя, — сразу кондуктора: так и так — у нас заболели дети. Вызовите, пожалуйста, нам на следующей станции врача. Все! Она идет в радиоузел — она обязана, — вызывает по рации санслужбу, и на следующей станции…

— Ну, тут семь раз дуба врежешь, пока они там по рации…

— Это все — колеса. Ты, Иван, держи на всякий

случай бутылку белой, — стал по-своему учить Васька Чулков. — Как ребенок захворал, — ты ему компресс на грудку. Нюра, возьми с собой ваты и бергаментной бумаги. У меня вон…

— Я взяла.

— А?

— Взяла, говорю! Бергамент-то.

— Вот. Ты вон глянь, что у меня с горлом-то делается… Нет, ты глянь! А-о!.. О-о! — Васька растопырил перед Нюрой свой рот. — Меня же ангина, сволочь, живьем ест! У меня же гланды в пять раз увеличены… Ты глянь!

— Да пошел ты к дьяволу со своими гландами! — рассердилась Нюра. — Водку пить — у вас гланды не болят.

— Так я потому и пью-то! Вынужден! Если бы не гланды, я бы ее, заразу, на дух не принял.

— Не, Иван, ты как приедешь, ты перво-наперво… Слышь? Ты как приедешь, ты… Слышь! Ваня, слушай сюда!.. Ты как приедешь…

— Ты дай сперва приехать, елки зеленые! — все злился Ванька. А злился он потому, что говорили все сразу и никому до его забот не было дела, а так — лишь бы поговорить. — Приедешь с вами.

— А вот приехал тоже один мужик в город и думает: где бы тут подцепить?..

— Чего подцепить?

— Не чего, а кого, это же одушевленный предмет.

— Кто?

— Ну, кто?.. Что, не понимаешь?..

— Не, ну ты говоришь — подцепить. Кого подцепить?

— Кралю каку-нибудь, кого.

— А-а. Ну, так.

— Ну слушай… — Двое говоривших склонились лбами над столом. Тот, который хотел рассказать историю мужика в городе, был очень серьезен и даже намеревался взять соседа за грудки и подтянуть его ближе к себе, но сосед отпихивал руки,

— Ты слушай!

— Я слушаю, чего ты руки-то тянешь?

— Я не тяну. Слушай!

— Ну?

— Приехал и думает: где б тут подцепить?

— Да сколько же он думать-то будет? Все думает и думает… Чего ты руки-то тянешь?

В другом конце стола подняли тему — как надо лечить язву желудка.

— Я и разговорись с им в автобусе-то, — рассказывал худой мужичок с золотыми зубами. Обстоятельно рассказывал, длинно. Со вку-

сом. — Да. Он меня спрашивает: чо, мол, такой черный-то? Не хвораешь? Да и хворать, мол, не хвораю, но и сильно здоровым тоже не назовешь, это я-то ему. Язва двенадцатиперстной, говорю. Он говорит: я тебя научу, как лечить. За месяц как рукой снимет.

— Как же?

— Возьми, говорит, тройного одеколона — флаконов пять сразу, слей в четверть. Потом, говорит, наруби мелко-мелко алоя — и намешай…

— А почему одеколон, а не водку?..

— Обычно же на спирту настаивают.

— А черт его знает — обязательно, говорит, тройной одеколон.

— Ну и по скольку принимать?

— А вон и Лев Казимирыч идет! — увидел кто-то. — Э-эй, Лев Казимирыч!..

По дороге с палочкой медленно и культурно шагал седой старичок, Лев Казимирыч.

Застучали в окно, позвали в несколько голосов:

— Лев Казимирыч!..

Лев Казимирыч поднял умную голову в шляпе, посмотрел на окна и свернул к воротчикам. Шагу не прибавил.

И сразу все за столом заговорили об одном —

какой умный этот Лев Казимирыч, сколько он, собака, знает всякой всячины, выращивает даже яблоки и выписывает книги.

— Этто иду лонись мимо его ограды, он мне шумит из-за штафетника: зайди! Зашел. Он держит в одной руке журнал какой-то, а в другой — яблоко. Вот, говорит, — теория, а вот — практика. Покушай. Ну, я куснул яблоко…

— А как он рой Егору Козлову посадил! Ведра, тазы, миски хватайте, кричит, чо попало — стучите! Гром нужен! Я тогда в суматохе Нюрашке Козловой крынок штук пять расколол — они сушились на плетне, я и пошел колышком по им — гром делать…

Засмеялись.

— Нюрашка-то по голове тебе гром не сделала?

— Рой сажал! — тут не до крынок.

— Ой, и башка же у этого Казимирыча!

— А мы как-то…

Вошел Лев Казимирыч… Снял шляпу, слегка — с достоинством — поклонился честной компании.

— Мир дому сему.

— С нами, Казимирыча!

— Дайте стул-то!.. — засуетились.

— По поводу чего сбор? — спросил Лев Казимирыч, присаживаясь на стул к столу.

— Да вот Ивана провожаем. На море едет…

Лев Казимирыч слегка удивился.

— На море?

— Отдыхать. В санаторий. Да вот, Казимирыч, помоги советом: хочет детишек взять, Иван-то, а мы — против, — обратилась к умному Казимирычу Акулина Ивановна, теща Ивана. — У меня сердце загодя мрет — шибко уж маленькие дети-то! А он их потащит. На кой же черт?

— Зачем? — спросил Казимирыч Ивана.

— Чего «зачем»? — не понял тот.

— Детей-то?

— Позагорать… Море посмотреть.

— Ты в своем уме?

За столом замерли. Все смотрели на Казимирыча.

— А что? — спросил Иван.

— Ты хочешь оставить там детей?

— То есть?

— То есть у них там сразу откроется дизентерия… Если еще не по дороге. Папа… ничего умнее не придумал?

— Да?

— Да, — спокойно сказал Казимирыч.

Всем сразу стало как-то легко. Даже весело.

— Вот, Ванька!.. А ведь говорили ему! Говорили!

Нет, уперся, дубина!.. Спасибо, Лев Казимирыч!

— Не за что.

— Выпьете, Лев Казимирыч? Махонькую…

— Нет, спасибо. Нельзя.

— Махонькую!

— Нельзя. Спасибо.

— Лев Казимирыч! — полез к старичку с дальнего конца стола мужичок с золотыми зубами. — А вот скажите мне на милость: если намешать алой с тройным одеколоном…

— Да не лезь ты со своим тройным одеколоном! Если уж хочешь знать, то я тебе скажу: «Красный мак» лучше. Лев Казимирыч, у меня к вам другой вопрос: вот, допустим, у вас засорился жиклер…

— Так, — сказал Лев Казимирыч, склонив набочок головку. — Засорился. Прекратилась подача топлива в цилиндры. Ну?

— А мотор работает!

— Мотор не работает.

— Работает!

— Значит, жиклер не засорился.

— Нет, засорился: идет натуральная стрельба.

— Значит, засорился, но не совсем. Логика.

— Споем, Лев Казимирыч?!

В дальнем конце стола, где мужичок с золотыми зубами, услышали «споем» и запели:

А сброшу кольца, сброшу серьги.

В шумный город жить пойду…

— запела здоровенная курносая девица и скосила… опасный, как ей, должно быть, теперь казалось, глаз на молодого соседа.

Там назову себя цыганкой,

Себя цыганкой назову.

Раз я сидела и мечтала

Да у открытого окна;

А чернобровая, в лохмотьях,

Ко мне цыганка подошла…

Опасный глаз не встревожил молодого соседа. Он о чем-то задумался… Потом потянулся к мужику, у которого жиклер засорился, а мотор работает.

— А дело в том, — сказал он, — что это не жиклер засорился! Понял?!

— А что же?

— Поршни подработались. Кольца. Ты давно их смотрел?

— Я их никогда не смотрел.

— Смени кольца!

А горят свечи восковые;

Гроб черным бархатом обшит.
А в том гробу лежит девчонка -
Да и она крепко, крепко спит.

Прислушались было к песне, но… петь вместе не умели, а чего же так сидеть слушать? — не на концерт же пришли.

А на коленях перед гробом
Стоит изменник молодой…

— Зина! А Зин! — едва остановили крупную девушку. — Давай каку-нибудь, каку все знают. Давай, голубушка, а то уж ты шибко страшно как-то — гроб…

— Эх-х!.. — Сосед Льва Казимирыча, рослый мужик, серьезный и мрачноватый, положил на стол ладонь-лопату; Лев Казимирыч вздрогнул. — Лев Казимирыч, давай что-нибудь революционное! А?

— Спойте хорошую русскую песню, — посоветовал Лев Казимирыч. — «Рябинушку», что ли.

И запели «Рябинушку». И славно вышло… Песня даже вышагнула из дома и не испортила задумчивый, хороший вечер — поплыла в улицу, достигла людского слуха, ее не обругали, песню.

— У Ваньки, что ли?..

— Ну. Провожают. Поют.

— Поют. Хорошо поют.

— На курорт, что ли, едет?

— На курорт. Деньги девать некуда дураку.

— Ваня, он и есть Ваня: медом не корми, дай вылупиться. Нюрка-то едет же?

— Берет. Хочет и детей взять.

— О-о!.. Знай наших!

— Ты поросят-то не ходила глядеть к Ивлевым?

— Нет. Я нонче не буду брать… Одну покормлю до ноября — и хватит. Ну их к черту.

— Почем же, интересно, Ивлевы-то отдают?

— Да почем?.. Двадцать пять, известно. Месячные?

— Месячные.

— Двадцать пять.

— Сходить завтра поглядеть… Я бы боровка взяла одного. Покормила бы уж, черт его бей. Тоскливо без мяса-то, тоскливо.

— Знамо, тоскливо.

— Тоскливо.

Утром Ивана с Нюрой провожали до автобуса. На тракт.

Шли серединой улицы: Иван с Нюрой — в центре, по бокам — тетки, дяди. Иван при шляпе, в шуршащем плаще, торжественный и помятый

после вчерашних проводов. Нюрка в цветастой шали, в черной юбке, в атласной бордовой кофте — нарядная, как в праздник.

Шел также молодой племянник Ивана с гитарой и громко играл что-то нездешнее, с маху вколачивая по струнам.

Встречные останавливались, провожали глазами группу и шли дальше по своим делам. Может, кому и доведется когда-нибудь уезжать из села — так же вот пойдет с родней по улице, также будут все обращать внимание.

Пришли на автобусную станцию… Иван с двоюродными братьями отошли в чайную. Жена Нюра и старшие в родне промолчали: положено. На дорожку.

Скоро Иван и братья вышли из чайной — красные, покашливали. Закуривали.

— Дай твоих, у меня мятью какие-то…

— Спал, что ль, на них?

— Сел где-то…

— Ваньк, дорогой-то не пей шибко.

— Да ну, что я?..

— Ты пивко лучше. Захотел выпить, возьми пару бутылок пива — не задуреешь, все будет нормально.

— Да ну, что я?..

Братья — ребята все крепкие, кулакастые — вместе кому хошь свернут шею. А города опасались. Иван слегка волновался.

— Не духарись там особо…

— Да ну, что я?..

Подошел автобус.

Родные наскоро перецеловались…

— Иван, гляди там!..

— Мама, ребятишек-то, это — смотри тут за ими. На реку бы не ходили…

— Да ехайте, ехайте — погляжу тут.

— А то у меня душа болит…

— Ехайте! Раз уж тронулись — ехайте. Чего бы, дуракам, здесь-то не отдохнуть? Ехайте уж…

— Нюра, Нюр, — подсказывали под руку, — ты деньги-то под юбку, под юбку; ни один дьявол не догадается… Я сроду под юбкой вожу… Целеньки будут.

— Мам, ребятишек-то гляди… На реку бы, на реку — гляди!

— Пишите! Иван, пиши!

— Все будет — печки-лавочки! — кричал уже из окна Иван.

— Мама, ребятишек… ради Христа!..

Поехали. Автобус двинулся. Поехали наши — не робейте, держитесь! Привыкайте.

Иван маленько в автобусе принахмурился; все глядел в окно, пока проезжали деревню, знакомые с детства места… Поскотину проехали, лесок…

— Первый раз? — поинтересовался сосед Ивана, пожилой добрый человек.

Иван отвернулся от окна и зачем-то бодро соврал:

— Да ну, что вы!.. — И посмотрел на Нюру, и опять принахмурился, и отвернулся к окну. Посидел маленько, повернулся к соседу. — Куда — первый раз?

— В далекий путь-то.

— А вы почему догадались?

— Ну… видно: всей родней провожали.

— Нет, я в городе-то бывал, а так далеко не бывал — первый раз.

— А куда?

— К Черному морю.

— Хорошее дело.

— В санаторий.

— Хорошее дело.

Билеты продавали снаружи вокзала, и была большая очередь. Иван устроил Нюру с чемоданом возле скверика, а сам побежал занимать очередь.

Стал за каким-то человеком в шляпе — шляпа за шляпой. Иван проявил какую-то странную, несвойственную ему говорливость. Вообще в городе он стал какой-то суетливый. Волновался, что ли.

— За билетом? — спросил он человечка в шляпе.

Человечек читал газету, оторвался на малое время, посмотрел на Ивана…

— Нет, за колбасой.

Иван не обиделся.

— Далеко?

Человечек опять отвлекся от газеты, посмотрел на Ивана…

— В Ленинград.

— А я — к югу.

— Хорошо.

— Да решил, знаете… Ну ее, думаю, все к черту — поеду. Билетов-то хватит?

— Должно хватить. А там… Бог ее знает. Народу много.

— Да. — Иван понизил голос, приблизил свою шляпу к шляпе человека с газетой. — Куда, к черту, едут? Чего дома-то не сидится?

Человек еще раз глянул на Ивана… И стал опять читать газету.

Иван помолчал, посмотрел вокруг… Посмотрел на длинную очередь… Заглянул через плечо человеку — в газету.

— Ну, что там?

Человек раздраженно качнул головой, сказал резковато:

— В Буэнос-Айресе слона задавили. Поездом.

— Ох, о!.. — удивился Иван.

Еще некоторые удивились в очереди, посмотрели на человека с газетой.

— А как же поезд? — спросил Иван.

— Поехал дальше. Слушайте, неужели охота говорить при такой жаре?

Иван виновато замолчал. Он думал, что в очереди, наоборот, надо быть оживленным — всем повеселей будет. Постоял еще немного, потом молча поманил рукой Нюру… Та подошла.

— Постой маленько, — сказал Иван. — Я покурю.

— Иди к чемодану, там покури.

Иван пошел к чемодану, а Нюра осталась стоять в очереди — терпеливо, с пониманием, что надо стоять, долго надо стоять.

Билетов всем хватило… Даже еще, наверно, остались лишние, так как в купе, кроме Ивана с Нюрой, был только один пассажир.

Иван вошел в купе несколько шумно, покрикивал на Нюру.

— Вот!.. Здесь — двадцать два, двадцать три. Давай сюда! Здравствуйте!

У столика сидел уверенный человек, чуть даже нагловатый, снисходительный, с легкой насмешечкой в глазу… Записной командировочный.

— Ну, — сказал командировочный, глядя на Нюру, — будем знакомиться? Николай Николаевич.

— Иван Расторгуев, — сказал Иван. — А это жена моя, Нюра.

— Так, так… — И как-то сразу понял командировочный, что с этой парой можно говорить снисходительно, в упор их разглядывать, Нюру особенно, только что не похлопывать. — Далеко ли?

— К югу. — Иван старался быть вежливым, знающим.

Николай Николаевич засмеялся.

— Вы что, перелетные птицы, что ли? К югу?

Ивана обидел этот смешок, но он не подал виду. Вошел проводник.

— Постель будете брать?

— Мне не потребуется, — сказал командировочный, — я в Горске схожу. А им вот потребуется, конечно. Они — к югу. — И командировочный

опять посмеялся, глядя на Нюру.

— Да, да, — поспешно сказал Иван, — нам, конечно, потребуется. Тащите.

Проводник принес два комплекта — постели.

— Два рубля.

— Какие два рубля? — не понял Иван.

— За две постели.

— Это… — Иван почуял некий подвох с этими двумя рублями. — А что, за постели отдельная плата?

Командировочный и проводник переглянулись.

— Отдельная, отдельная. Давайте поскорей, мне некогда.

— Нюся, дай два рубля, пожалуйста, — спокойно сказал Иван.

— Загороди меня, — тихонько попросила Нюра.

Иван стал так, чтоб загородить жену от мужчин.

— Счас мы свои рублишки достанем из чулочка… И отдадим. — Ивану страсть как неловко было, что деньги — где-то у жены «в чулочке»… И он прямо, вызывающе-прямо посмотрел на ухмыляющихся проводника и командировочного и тоже улыбнулся, но зло улыбнулся. Если бы

командировочный посмотрел внимательней на Ивана, он бы перестал улыбаться. Но он смотрел невнимательно — он улыбнулся. — Жена у меня боязливая… возьмут, говорит, да своруют наши рублишки… А кому они нужны, наши рублишки? Верно?

Нюра достала наконец пятерку… Подала кондуктору. Тот сдал трояк сдачи и ушел.

— Первый раз? — весело спросил командировочный.

— Что?

— Едешь-то. Первый раз?

— Так точно! А что?

— Надо доверять людям… Вот вы едете со мной вместе, например, а деньги спрятали… аж вон куда! — Командировочный опять посмеялся. — Значит, не доверяете мне. Так? Объективно так. Не зная меня, взяли меня под подозрение. А ехать вам далеко — вы так и будете всем не доверять? Деревенские свои замашки надо оставлять дома. Раз уж поехали… к югу, как ты выражаешься, надо соответственно и вести себя… Или уж сиди дома, не езди. А куда к югу-то? Юг большой…

— На кудыкину гору. Слыхали такую? Там курорт новый открылся… Вот я туда первый раз и смазал лыжи.

Нюра засмеялась. Невольно.

Командировочного задело за живое. Особенно ему не понравилось, что Нюра засмеялась.

— А ты что это сразу в бутылку-то полез?

— А вы что это сразу тыкать-то начали? Я вам не кум, не…

— О-о! — Командировочный удивился и засмеялся насильственно. — Да мы, оказывается, с гонором!

— Вот так, дорогой товарищ… Я бы лично эти ваши ухмылочки не строил. Что, вы от этого сильно умный, что ли, стали? Нет же…

— Иван! — вмешалась Нюра.

— Слушайте!.. — посерьезнел командировочный. — Вы все-таки… это, научитесь вести себя как положено — вы же не у себя в деревне. Если вам сделали замечание, надо прислушиваться, а не хорохориться. Поняли? — Командировочный повысил голос. — Научись сначала ездить. Еще жену с собой тащит…

— А что тебе моя жена? — зловеще тихо спросил Иван. — Что тебе моя жена?

Нюра знала, что после таких вопросов — так сказанных — Иван дерется.

— Вань!..

— Что тебе моя жена-то?

— То, что надо сначала самому научиться ездить, потом уж жену за собой возить.

— А твое какое дело? Я тебе что, на хвост нечаянно наступил?

— Да вы только не это… не стройте из себя припадочного. Не стройте. Видели мы и таких… И всяких. — У командировочного серьезно побелели глаза. — Не раздувайте ноздри-то, не раздувайте! А то ведь — как сел, так и слезть можешь.

— Это кто же, ты ссадишь?

— Ванька! Да перестань ты, Господи-батюшки!.. И вечно с им какие-нибудь истории!

Командировочный весь встрепенулся, осмелел еще пуще.

— Так вот, чтобы историй этих больше не было — мы поможем ему… Ишь ты, понимаешь…

— Ну-ка, помоги.

— Сча-ас. Вот до следующей станции доедем и вызовем милицию. Может, с историями-то придется остановку сделать… суток на пятнадцать. Подумать, как вести себя в дороге. А то…

— Профурсетка в штанах, — отчетливо сказал Иван. — Он еще пугать будет… Сам у меня слезешь. Спрыгнешь… И — по шпалам, по шпалам… — Иван встал; Нюра вцепилась в него.

Командировочный вскочил с места. Он сделал это поспешно и сам же усовестился своей поспешности, гордо тряхнул головой.

— Ах, так? Ну погоди… — И он пошел из купе, но в дверях еще оглянулся. — Счас ты у меня уедешь. — И вышел.

Нюра перепугалась.

— Опять!.. На кой черт потащил тогда, на самом-то деле, если с характером своим поганым совладать не можешь?..

— Не гнуси. Я, что ли, начал?

— Ссадют, правда, на станции — кукуй там…

— Счас — ссадили.

— Он, может, начальник какой, откуда ты знаешь?

— Он дурак. Чего он начал ухмылочки строить?

— А ты что, с лица спал от этих ухмылочек? Строй он их!.. Как хорошо поехали — нет, надо свой характер показать!..

— Не ори. И не пужайся, наоборот, держи теперь нос выше, а то, правда, не ссадили бы.

— Как хорошо поехали!.. — горько горевала Нюра.

Дверь в купе отодвинулась…

Стояли два кондуктора, а за ними — команди-

ровочный.

— Вы что тут? — спросил кондуктор, который выдавал постели.

— Что? — откликнулся Иван. — Ничего.

— Чего шумите-то?

— Кто шумит? Никто не шумит.

— А кто меня из вагона выбросить хотел? — спросил командировочный.

— Вы что-то перепутали, — спокойно сказал Иван. — Это вы меня ссадить хочете… А мне неохота — слезать-то… Я затосковал.

Кондукторы увидели, что пассажир — не пьян, обратились к командировочному:

— Перейдите в другое купе, места есть. Во втором есть два места.

Командировочный взял свой портфель и, смерив Ивана презрительным, обещающим взглядом, сказал:

— В Горске мы еще увидимся.

— Давайте. По кружке пива выпьем…

— Ты это… не очень! — прикрикнул на Ивана кондуктор. — А то выпьешь у меня.

И они ушли.

— Вот так! — сказал Иван. Встал, засунул руки в карманы и прошелся по свободному купе. — А то будут тут мне… печки-лавочки строить, по-

нимаешь.

— Сиди уж!.. Герой! У самого небось душа в пятки ушла.

— У кого? У меня? Мне только на станции сидеть неохота, а то бы ему… сказал несколько слов. Зато вон как свободно стало!.. Хорошо! — Иван полез в карман — закуривать.

— Иди в коридор курить-то. Здесь нельзя, наверно.

Иван вышел в коридор.

В коридоре стоял молодой мужчина… Смуглый, нарядно одетый, улыбчивый. Морда — кирпича просит.

Иван похлопал по карманам — в одном брякнули спички… Но все равно смуглый, вежливо улыбнувшись, подставил свою папироску. Иван прикурил.

— Маленькое недоразумение? — спросил смуглый, кивнув в сторону служебного купе.

— Да один товарищ… начал чего-то — ни с того ни с сего…

— Далеко?..

— Еду-то? К югу. Надо, знаете, отдохнуть малость. На курорт. — Иван теперь решил быть вежливым со всеми подряд.

— Один? — все расспрашивал смуглый, ско-

рый.

— Нет, с женой.

Смуглый вдруг протянул руку — знакомиться.

— Виктор.

— Иван.

— Кроме вас, в купе есть кто-нибудь?

— Нет. Этот-то ушел…

— Я тогда перейду к вам… — Виктор вошел в соседнее купе, вынес большой желтый чемодан. — А то у меня там одни женщины… Пойдем в твое.

— Пошли.

Вошли в купе. Виктор приветливо поздоровался и засунул чемодан под сиденье.

— Ну вот… — сказал он облегченно. И улыбнулся Нюре. — Ну, как там… в колхозе-то?

— Да ведь оно — как? — пустился в рассуждения Иван. — С одной стороны, конечно, хорошо — материально нас поддержали, с другой стороны… А вы кто будете по специальности?

— Я?

— Ну…

— Конструктор.

— Вот — городской человек. Вот нам говорят: давайте сравняем город с деревней. Давайте! Значит, для вас в городе главное что, деньги? Ну,

значит, давайте и для деревни так же сделаем — деньги будут главными. А — хрен!.. Так нельзя.

— Иван, — сказала Нюра.

— Ну?

Нюра притворно посмеялась.

— Ты с какими-то разговорами… Человек, может, устал, а ты…

— Нет, нет, я не устал, — сказал Виктор. — Ну, так — деньги?

— Деньги. Я, например, тракторист, она — доярка. Мы в добрый месяц зашибаем где-то — две, две с лишним сотни.

— Да? — удивился конструктор. — Я думал, меньше.

— Да что вы! Иной раз до трех выходит!..

— Вань…

— Чего тебе?!

— Ну, ну? — любопытствовал дальше конструктор.

— Теперь, — продолжал Иван, входя во вкус коренной беседы. — Что получается? Если я не поленюсь, я эти свои сто двадцать рублей завсегда вышибу. Так? Буду вкалывать с утра до ночи… а то и ночи прихвачу… Так?

— Ну.

— Правильно! — Иван всерьез волновал-

ся. — Но один маленький вопрос: чем больше я получаю, тем меньше я беспокоюсь, что после меня вырастет. Вот.

— А в чем вопрос-то? Это ответ.

— Ну, ответ. А вопрос еще хуже: спроси?

— Кого?

— Меня.

— О чем?

— Беспокоюсь я за пашню? Нет, я по-человечески, конечно, беспокоюсь, как же. Но, все равно, это не то. Я вспахал, и моя песенка спета. Все?

— Все.

— Хрен!.. Это на заводе — сковал я, допустим, ось, так она ось и нужна — я все сделал…

— Но ось-то — тоже для машины! На одной оси-то не поедешь.

— Правильно! А машину потом соберет другой — и за это тоже ему плати денюжку…

— Но ведь и у вас: ты вспахал, другой посеял…

— Я вспахал — получил, он посеял — получил, а хлеба, например, нету. А мы денюжку получили. Я к примеру говорю.

— Это какой-то Гегель получается…

— Да никакой не Гегель!

— Да почему хлеба-то нету? Неурожай, что ли?

— Да меня это не касается, вот штука-то! Не

знаю, может, неурожай. Я пахал хорошо. И получил хорошо — на курорт вот поехал… Хватило.

— Вань…

— Не ванькай! Я ж за колхоз волнуюсь, а не… чего-нибудь. Мне тоже понять охота.

— Значит, вы живете хорошо, — подвел итог конструктор.

— Хорошо. Вон у меня ряшка-то — с похмелья не… это… Она и у те… Да. Хорошо живем!

— А почему вы в город из деревни бежите?

— Это не вопрос, это — семечки. Я же эти сто двадцать рублей везде могу заработать. Заработаю же я их в городе?..

— Наверно.

— Заработаю! Силенка есть, и башка на плечах — сумею.

— Сумеешь.

— Но в городе я на эти сто двадцать рублей… интересней проживу. В городе у меня все под боком: и магазин, и промтовары, и парикмахерская, и вино… А у себя-то я со своим рубликом еще побегаю поищу — где пальтишко девчонке купить, где рубаху себе, где пальто демисезонное супруге… За любым малым пустяком — в райцентр. А до райцентра — семьдесят километров. Да еще приедешь, а там тоже нету.

— М-да. А куда сейчас-то? Место подбирать, куда бежать?

Иван обиделся.

— Ать! — поймал! Пойма-ал, конструктор… — Посмеялся недобро. — Что, есть на примете хорошее местечко?

— Обиделся! — Конструктор тоже посмеялся — добрее. — Оби-иделся, пахарь. Не обижайся, я без всякого умысла. Куда едете-то?

— Я же говорил — к югу.

— А, да. К югу — это хорошо, — похвалил конструктор. — Я сам думаю махнуть скоро… — И конструктор пропел шутливо: — «Там море Черное, песок и пляж, там жизнь привольная чарует нас!..» Да?

Нюра засмеялась. Она была очень смешливая женщина. И смеялась как-то очень доверчиво и мило — хотелось ее смешить.

— Так-так, — сказал довольный конструктор. И поднялся. И достал из-под сиденья чемодан. — Ну, что нам тут положили? Собираешься вечно второпях… вечно торопишься… Ну, конечно, — ключи забыл дома. На пианино. Вечная история! Ножик есть, Ваня?

— Есть.

— Да зачем же ломать такой добрый чемо-

дан! — встряла Нюра.

— Ничего. На наш век чемоданов хватит. Верно, Иван? — Конструктор ловко поддел концом ножа блестящие замочки, и они один за другим отскочили.

— Вы не по тракторам конструктор?

— Нет. По железной дороге.

— А то бы я вам задал пару вопросов…

— Нет, лучше не надо, Иван. — Конструктор с чрезвычайным любопытством рылся в чемодане, отвечал на вопросы нехотя. — Я устал от вопросов… Ага — коньячишко!.. КВК. Прекрасно. А тут что?.. Купюры. О мне эти интеллигенты: кто же деньги кладет в чемодан! — Конструктор переложил деньги из чемодана в карман. — Что-то я не вижу здесь литературы. Обычно этого… М-да. Ну? — Конструктор весело посмотрел на Ивана, на Нюру… И какая-то мысль влетела ему в лоб. Он достал из чемодана очень нарядную кофточку.

— Ну-ка, Маруся, встань.

— Нюра. Маруся у нас дома осталась.

— Ну-ка, Нюра, примерь…

— Зачем?

— Примерь, я посмотрю.

— Ой, да я сроду и не нашивала таких…

— Да примерь — просют! — воскликнул Иван.

— Ну, отвернись.

Мужчины отвернулись. И, отвернувшись, поговорили малость.

— Какое отношение к коньяку? — спросил конструктор негромко.

— У меня? Хорошее.

— Рюмочку — не возражаешь? КВК.

— Что это, коньяк?

— Да. Генеральский.

— Не возражаю.

— Ну, глядите! — сказала Нюра. Кофточка так ее красила, так преобразила!.. Нюра покраснела под взглядами мужчин. Засмеялась милым своим смехом.

— Идет вам.

— Это кому же вы такое богатство везете? — спросила Нюра.

— Носите на здоровье, — просто сказал конструктор.

— Да что вы! — испугалась Нюра.

— Ничего, носите. Это так вам к лицу!.. — Смугловатый джентльмен улыбнулся. — У нас хватит. Ах, как она вам идет! Шик-блеск — тру-ля-ля, как мы говорим, когда заканчиваем какую-нибудь конструкцию.

— У нас… это… — растерялся и Иван, — деньжо-

нок в обрез… На дорогу только. А она ж дорогая, наверно…

Конструктор укоризненно покачал головой.

— Не обижай, Иван. Деньги — это бяка. Скажи лучше, чем мы закусим коньячишко?

— У нас огурцы малосольные есть…

— Нет, огурцы здесь не… Ага! — Конструктор нашел в чемодане шоколад. — Ах, молодцы! Все продумали.

— Заботливая у вас жена, — сказала Нюра, желая сказать что-нибудь очень хорошее доброму человеку.

— Ничего… Немножко рассеянная.

— Работа, видно, такая. У нас на квартире жил один ученный — такой умница, такой башковитый, добрый тоже такой, а ширинку вечно забывал застегнуть. — Нюра засмеялась. Конструктор тоже посмеялся. И Иван посмеялся. Все посмеялись, так всем что-то хорошо стало.

— Держи, Иван.

Нюра дернула было Ивана за пиджак — чтоб он не увлекался коньяком-то, но Иван только ногой дрыгнул и досадливо, с укором поморщился.

— Вот так вот живешь, работаешь… а радости — нет. Радость — на нуле. — Конструктор чего-то вдруг взгрустнул. — Настоящей творческой

работы мало. Так — мелочишка суффиксов и флексий… устаю. Все время в напряжении, все время нервы как струны натянуты, и я боюсь, что когда-нибудь они лопнут.

— Железная дорога! — понимающе сказал Иван. — Тут так-то просто проедешь, и то голова кругом, а вам все время думать надо. Это же не печки-лавочки, понимаешь.

— Ну?..

— Поехали…

Они хватили по рюмочке дорогого коньяку, заели шоколадом. Конструктор закурил сигарету с золотым обрезом — тоже из чемодана, вытянул ноги, чуть прикрыл глаза.

— Покой нам только снится, — сказал он негромко.

— Но я вам так скажу, Виктор…

— Александрович. Друзья меня называют — Виктор.

— А вам так скажу, Виктор, — пустился в подхалимаж Иван, — без вашей работы мы бы тоже далеко не уехали…

— Куда вы без нас!

— Вот я — тракторист. Я поучился три месяца — и готово дело: управляю. А ведь его же придумать надо было, сконструировать! Сколько там всяких

узлов, систем… — Иван повернулся к Нюре, стал загибать пальцы. — Система питания, система зажигания, система охлаждения…

— Молодец, хорошо знаешь трактор, — похвалил Виктор. — А вот нам, авиаконструкторам…

— Вы же — по железной дороге.

— Нет, я по железной дороге, но с авиационным уклонном. Мы сейчас разрабатываем систему игрек: железная дорога без мостов.

— Как это?

— Так. Вот идет поезд, на пути — река… А моста нет.

— Ну а как же?

— Очень просто: поезд пла-авненько поднимается в воздух, перелетает реку и снова опускается на рельсы.

— Где же у него крылья-то будут? — тоже очень заинтересовалась Нюра.

— Никаких крыльев — воздушная подушка. Паровоз пускает под себя мощную струю отработанного пара — и по пару, по пару…

Иван засмеялся.

— Премию большую могут дать за такую механизацию!

— Могут дать, — согласился Виктор, улыбаясь.

— Так что, правда, что ли? — не поняла Нюра.

Мужчины засмеялись вместе.

— Что ты, шуток не понимаешь? — сказал Иван.

Поезд стал замедлять ход, стал громко стучать на стыках.

— Это какая станция? — встрепенулся Виктор.

Иван выглянул в окно.

— Гор…ск. Горск.

— Сколько здесь стоит?

— Не знаю.

— Наливай по рюмочке… И продолжим мирно беседовать.

— Хватит бы вам, — сказала Нюра. — Виктор Александрович, выпейте один, а мой пусть пропустит. А то он счас по вагону начнет бегать.

— Зачем? — не понял Виктор.

— А он всегда так: как выпьет, так…

— Да брось-ка ты! — обиделся Иван. — С конька не забегаешь! Это тебе не самогон.

— Зачем же он бегать будет? Мы будем спокойно сидеть — беседовать. Вы на съезде колхозников были?

— Нет.

— Но какие вопросы…

В это время дверь в купе отодвинулась: стояли милиционер, а за ним… командировочный.

— Вот, пожалуйста, коньяк сидит дует! — брезгливо сказал командировочный. — Он до Новосибирска не доедет. И эта — тоже… куда с таким пьянчугой поехала! На куро-орт!..

— Куда едете? — строго спросил милиционер Ивана.

— К югу. А чего, я не понимаю?.. Вот билеты, вот путевка…

— Тебе не на курорт надо, а в вытрезвитель, — зло говорил командировочный. — Еще жену за собой тащит…

— Минуточку, — остановил его милиционер. Внимательно осмотрел билеты, путевку. — Как же так: не успел отъехать — уже за бутылку?

— Тут недоразумение, товарищи, — спокойно, чуть принахмурившись и негромко заговорил железнодорожный конструктор. — Товарища колхозника угостил коньяком я, и выпили мы — вот, что видите, — совсем немного. До этого он был совершенно трезв, я это утверждаю.

— Вы не заступайтесь за него, не заступайтесь, а то он отблагодарит вас, этот хам…

— Я не заступаюсь! — повысил голос конструктор. — Я констатирую (он выговорил — консцацирую) факт: товарищ был совершенно трезв и угостил его — я. А вас… вам стыдно, товарищ,

бегать по милициям и вносить дезинформацию. Кляузами заниматься.

— Я же и кляузничаю! А это что у вас на столе? Боржоми?

— Это коньяк. КВК. У нас в стране нет сухого закона. Ясно? И не бегайте и не травмируйте людей. Люди едут на заслуженный отдых, а вы тут…

— А кто вы такой, собственно? — ощетинился командировочный.

— Это же самое я хочу спросить у вас; Где вы работаете, кстати? — Конструктор вынул из кармана записную книжку, приготовился записать.

— А вы куда едете? — спросил милиционер.

— В новосибирский академгородок, — небрежно бросил конструктор. — Так где вы работаете, товарищ?

— Не ваше дело.

— Хорошо. — Конструктор спрятал записную книжку. — Я постараюсь это узнать. Через Николая Сергеевича. — Конструктор посмотрел выразительно на милиционера. — Это не составит труда. И тогда вы не мне, а в другом месте ответите, почему вы ходите и запугиваете колхозников. Почему вы им устраиваете проверку документов… и прочее.

— Вы же не слышали, как он тут обзывался…

— Это ваше мужское дело! — Конструктор ни секунды не делал паузы, трудно было вклиниться в его речь еще с каким-нибудь вопросом, например. — Вышли в тамбур и выяснили отношения. Нет, вы приводите милиционера, отвлекаете его тем самым от прямых обязанностей, да еще и внушаете работникам сельского хозяйства недоверие к форме уважаемых сотрудников общественного порядка…

— Спокойней, товарищи, спокойней! — влез наконец милиционер со словами. — Наше дело — предупредить, чтобы товарищ… не забывался, что он в дороге, тем более что он не один. И вам, так же самое, — совет: выпиваете, а без закуски. А еще молоды, опыта в этом деле мало — развезет, и сами не заметите как. Вон же есть вагон-ресторан, взяли первое, второе, ну и выпили. Но тогда есть уверенность, что не развезет. А так — это же риск. Езжайте, никто вам ничего не собирается делать, никто вас не запугивает. Но опять же, мой совет, как старшего товарища: будьте с этим делом бдительны. Коньяк — его ведь только пить приятно, но он свое берет. До свиданья.

— До свиданья.

— До свиданья.

Дверь в купе задвинулась. Некоторое время

все молчали. Конструктор откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза.

— Валерьянка есть? — спросил он. Он и правда побледнел.

Нюра испугалась.

— Я схожу спрошу у этого… какой постели выдавал… У них есть, наверно.

— Нет, — сказал конструктор. — Не надо. Сейчас мы вот этих капель накапаем. — Он налил себе полстакана коньяка и залпом выпил. — Вот так. Пройдет.

Поезд тронулся.

— Поехали? Ну, вот… а ты, дурочка, боялась… — Конструктора что-то кинуло в болтливость, с коньяка, что ли.

— Ты, Иван, спрашивал насчет системы игрек: только что, на твоих глазах, сработала система игрек. Мы же были в воздухе. Ты не заметил?

— Как в воздухе? — спросила Нюра. — Мы стояли.

— Мы были в воздухе. Пла-авненько поднялись и опусти-ились. — Конструктор показал рукой, как пла-авненько поднялись и опусти-ились.

— Не знаю, кто поднялся, кто опустился, но сердце у меня опустилось в пятки, это точно, — признался Иван.

Конструктор почему-то обрадовался. Даже засмеялся.

— Испугался?

— Испугался! Ссадют, думаю…

— А-а, вот так! И ссадили бы — запросто. Да. Ну, хорошо с вами… но мне пора.

— Куда вы?

— Да пойду поищу тут товарища одного… — Виктор затянул чемодан ремнями. — Товарищ один должен ехать… тоже конструктор. — Виктор взял чемодан в левую руку, правой еще пригубил на дорожку коньячку и раскланялся.

— Вы коньяк-то пробочкой заткните да в карман, — посоветовал Иван. — Товарища-то стренете — будет что выпить.

— Мы найдем. До свидания.

— Виктор Александрович, — заговорила Нюра, — за кофточку-то… я уж и не знаю как благодарить. Дай Бог здоровья жене вашей, деткам, если есть…

— Должны быть, по идее.

— Не заругали бы вас дома-то. Скажут: такое добро, а кому-то отдал.

Конструктор прислушался к шуму в коридоре.

— Ничего… Носите на здоровье, Нюра. В Крыму, даст Бог, увидимся.

Конструктор отодвинул дверь, выглянул… И скоро ушел.

— Гляди-ка, какие люди бывают! — сказал Нюра. — Даже не верится. Ведь такая кофта… рублей сорок, а то и все пятьдесят. Вон Грушке Богатковой брат прислал — сорок пять рублей, пишет, а она победней этой-то.

— Эта? — Иван прикинул на глаз. — А шестьдесят не хочешь? Сорок… Это же заграничная, вон, гляди, клеймо-то. Это тебе не печки-лавочки.

— Все-таки никак я его не пойму: за что?

— А мы и не поймем. Мы ведь как рассуждаем: сами вонзимся, как жуки в навозе, и думаем, что и все так. А есть — люди! Орлы! Я бы сам такой же был, если бы не твоя жадность. Дай-ка мне сюда деньги, а то каждый раз лезешь туда… со стыда сгораю.

— Не сгоришь. Они там надежней будут. Дай тебе Бог здоровья, добрый человек! — Нюра все не могла налюбоваться на кофту, все смотрелась в зеркало. — Прямо сият, сият!..

Вдруг зеркало отъехало в сторону — в двери стояли два милиционера и проводники. И еще одни — в гражданском.

— Где он? — спросил милиционер, тот самый, который был здесь, с командировочным.

— Кто? — не понял Иван.

— С вами ехал… Он ушел?

— Ушел.

— Когда? Давно?

— С полчаса. Может, минут двадцать… Это вы про конструктора?

— Конструктора… Он все с собой забрал? Что у него было?

— Чемодан… Желтый такой.

— И все?

— Все… Вроде все.

Нюра так и села. В кофте-то. И с ужасом смотрела на милиционеров.

— Но он не в Горске сошел? Позже?

— Позже. Ему так-то до Новосибирска ехать… Он пошел товарища, говорит, поискать…

— Наверно, на Верхотурском подъеме спрыгнул, — стали гадать милиционеры и человек в гражданском. — Не иначе.

— Черт его… мог и на шестьдесят седьмом спрыгнуть. Он куда пошел: вперед или в хвост поезда?

— Да вышел из купе, и все. Дальше мы не видели. А в чем дело?

Милиционеры и в гражданском ушли. Но сказали:

— Не уходите никуда из купе.

— Вот, брат, какое дело… — Один проводник, очень расстроенный, присел на краешек дивана. — Зачем посадил без билета?! Ну, есть места — и посадил. Ну, нет: теперь виноватых надо найти! Как же! Он вот и с вами, вижу, коньяк выпивал, — выходит, и вы виноватые?

— А что случилось-то?

— Сами поймать не могут, давай на других сваливать! — Проводник очень, очень расстроился. — Ну, посадил… Они просются завсегда, а места есть, все равно до Новосибирска не займут. Ну, ехай — надо же ехать, ехай. Нет, теперь виноватых будут искать. Эх-хе-хе!.. — Проводник встал и ушел.

Нюра, как села в своей заграничной кофте, так сидела, не могла встать. Смотрела на мужа…

— Вань… да что же это?

— Вор, вот чо это такое. Ворюга несусветный… — Но Иван не растерялся, а обрел даже какую-то деловитость. — Снимай кофту, — велел он. — Быстро! Давай ее сюда. Одевай свою!..

Началась операция по уничтожению страшной кофты. Иван затолкал ее себе под рубаху и только хотел выйти в туалет, как дверь отъехала и заглянул проводник.

— Бутылку с коньяком не велели трогать. Вообще ничего не трогать — отпечатки пальцев будут снимать. И сами сидите.

— Сидим.

Проводник удалился… Иван подождал немного, выглянул в коридор… И быстро-быстро по коридору — в туалет.

В туалете, к счастью, никого не было. Иван затолкал кофту в унитаз, долго искал, где спустить воду, нашел, спустил… Кофта застряла в трубе: раковина наполнилась водой. Иван заметался по малому пространству сортира — нечем было протолкнуть кофту. В дверь толкнулись снаружи раз, другой… Пошевелили ручкой.

— Счас! — громко откликнулся Иван. — У меня понос, товарищи!

— Иди, там следователь пришел, — сказал проводник.

— Счас приду.

Проводник все не уходил… Стоял за дверью.

— Иди, он зовет, — еще сказал он.

— Да счас иду! — заорал Иван со злостью.

— Давай, — сказал проводник. И ушел.

С отчаяния Иван еще разок нажал на педаль внизу… Вода полилась через край, на пол…

В купе следователь расспрашивал пока Нюру.

— Он что, знакомым вашего мужа представился?

— Да нет, он вышел покурить, муж-то, а, смотрю, вместе идут…

— Значит, просто попутчик? — Следователь (это тот, что был в гражданском, в красивых очках) внимательно посмотрел на Нюру, чем окончательно доконал ее. — И что он сказал, когда вошел?

— Ничего. Здравствуйте, мол. Обходительный.

Проводник, который вошел и присел на диван, угоднически посмеялся.

— Обходительный…

— Ну а где же… товарищ-то отсюда? — повернулся следователь к проводнику.

— Я сказал ему! — поспешно воскликнул тот. — У него… Разрешите? — Проводник наклонился к ухо следователя, что-то сказал.

Следователь поморщился.

— Со страха, что ли?

Виноватый проводник опять противненько посмеялся и сказал:

— Это уж точно.

— Понос, что ли? — спросила Нюра. — У него бывает.

В дверь купе постучали.

— Да! — сказал следователь.

Вошел Иван… Правый рукав его нового пиджака весь был мокрехонек до плеча.

— Здравствуйте, гражданин следователь.

Следователь, забыв свое важное положение, громко засмеялся. И проводник — не понимая, в чем дело, — тоже неуверенно подхихикнул. И Иван тоже изготовился изобразить улыбку, только не понимал, что это за смешинка попала в рот серьезному следователю.

— Почему же я — гражданин? — спросил следователь, отсмеявшись.

— А как?

— Обыкновенно — товарищ.

Проводник понял наконец, в чем дело, и чуть не захлебнулся в восторге от своей догадливости. Даже вскочил.

— Рано!.. Рано гражданином-то. Это потом, чудак!..

Поезд в это время подошел к какой-то большой станции. Кого-то встречали, провожали, кто-то уезжал грустный, а кто-то улыбался и похохатывал… Жизнь, нормальная, крикливая, шла своим чередом. Шла и ехала на колесах.

Вот встретили какого-то флотского, старшину второй статьи. Флотский еще на подножке изоб-

разил притворный ужас от того, что его столь много понашло, понаехало встречать… Актеры, эти флотские! Ему кричали, шли рядом с вагоном, его звали скорей сойти, а он, счастливчик, все изображал ужас и что он теперь будет делать!.. Потом поезд совсем остановился, флотский упал в руки друзей…

А вот слегка поношенный человек идет через перронную сутолоку, держит в руках каракулевую папаху, какие носят полковники, и негромко, однообразно повторяет:

— А вот папаха. А вот папаха. Кому папаху?

— А ну, дай глянуть, — остановился один удачливый спекулянт. — Что просишь?

Поезд опять поехал.

Иван снял пиджак, надел другую рубаху… Сидели с Нюрой, молчали. Очень уж неожиданно и тяжело свалился на них этот «железнодорожный конструктор».

— Да-а, — только и сказал Иван, глядя в окно. — Дела…

— Такой молодой — и надо же! — вздохнула Нюра. — И что заставляет?

Тут дверь в купе отодвинулась, вошел пожилой опрятный человек с усиками, с веселыми, нестариковскими живыми, даже какими-то озорными

глазами. Вошел он и опускает на пол… большой желтый чемодан с ремнями.

— Здравствуйте! — приветливо сказал пожилой, веселый. — По-моему, это здесь… Двадцать четыре — здесь. Будем соседями?

Иван, увидев желтый чемодан с ремнями, «сделал ушки топориком». Нюра тоже смотрела на нового пассажира подозрительно и со страхом.

— Далеко ехать? — спросил словоохотливый сосед.

— Далеко, — сказал Иван.

— И мне далеко… — Сосед, однако, был удивлен столь явным недружелюбием соседей. — Я не помешал вам?

— Нет.

Некоторое время сидели молча.

— Вы не конструктор будете? — спросил Иван.

— Нет… А почему вы решили, что конструктор?

— Да так… — Иван насмешливо, с укоризной посмотрел на пожилого соседа. — А кто вы будете, интересно бы узнать?

— Я — профессор. Но… самый, наверно, несерьезный, странный, профессор: ездил в ваши края собирать частушки, сказочки…

Иван с Нюрой переглянулись.

— Собрали?

— И преизрядное количество! — Профессор хлопнул чемодан по пузу. — Богат народ! Ах, богат! Веками хранит свое богатство, а отдает даром — нате! Здесь, в этом чемодане, — пуд золота. Могу показать — хотите? — Профессор полез было в чемодан.

— Нам ничего не надо! — вскричала Нюра.

А Иван даже предостерегающе привстал… И смотрел на профессора недобро, очень серьезно.

Профессор вовсе был удивлен.

— М-гм, — сказал он. И замолчал.

Все долго молчали.

— Пойду, пожалуй, чайку спрошу, — сказал профессор. И встал. — Для вас не попросить?

— Нет, — сказал Иван.

— Нам не надо, — сказала Нюра.

Профессор вышел.

— Проверь деньги, — заговорил Иван, едва дверь за профессором закрылась. — А то тут снова пошли печки-лавочки.

Нюра пощупала на боку деньги.

— Здесь.

— Переверни вниз и сиди на них. И не вставай зря…

— Да уж отсюда-то… как, поди?

— Они с руки часы снимают, не то что… оттуда. С такого объема — ты и не почувствуешь.

— Да ведь все такие обходительные!

— Чай принесет, тоже не бери: может подсыпать снотворное… По-моему, они из одной шайки. — Иван показал на чемодан профессора, так поразительно похожий на чемодан «железнодорожного конструктора».

— Может, сказать кому-нибудь?

— Да? А потом — нож под ребро… Сиди и помалкивай: мы — деревенские, люди темные, с нас взятки гладки. Спать будем по очереди.

Вошел профессор.

— Ну, вот и чаек! Да такой, знаете, славный!.. Напрасно отказались.

— Мы уже… почаевничали, — сказал Иван.

Профессор внимательно глянул на Ивана.

Нюра хранила молчание.

— Сельские? — полюбопытствовал профессор.

— Ага, сельские. Из деревни.

— Ну и как там теперь, в деревне-то? По-моему, я вот поехал, веселей стало? А? Люди как-то веселей смотрят…

— Что вы!.. Иной раз прямо не знаешь, куда деваться от веселья. Просто, знаете, целая улица — как начнет хохотать, ну, спасу нет. Пожарными

машинами отливают.

— О, как! Массовое веселье… Чего они?

— А вот — весело! Да я по себе погонюсь: бывает, встанешь утром, еще ничем-ничего, еще даже не позавтракал, а уж смех берет. Креписся-креписся, ну, никак. Смешно! Иной раз вот так вот полдня прохохочешь…

— А знаете, что надо делать, чтоб остановиться? Со мной бывало такое — тоже целыми днями хохотал. Меня один умный человек научил, как избавиться…

— Ну-ка? А то прямо беда!

— Беда, беда. Что вы!.. Я знаю. То ли работать, то ли сменяться…

— Вот, вот.

— Надо встать на одну ногу, взять правой рукой себя за левое ухо, за мочку, прыгать и… Вас как зовут?

— Иван.

— Прыгать и приговаривать:

Ваня, Ваня, попляши,
Больно ножки хороши;
Больно ножки хороши -
Ваня, Ваня, попляши!

Нюра невольно засмеялась.

А Ивана почему-то эта песенка оскорбила.

— Помогает? — зло спросил он.

— Как рукой снимет.

— Вот… ученые-то, все-то они знают! Прямо позавидуешь, ей-Богу. Надо запомнить. Как? «Ваня, Ваня, попляши»?

— Ваня, Ваня, попляши.

— А вдруг да заместо того, чтоб хохотать, — плясать примешься? Тоже ведь — опасно.

— Плясать?

— Но. Попрыгаешь так-то, да и пойдет чесать целый день.

— Хм… Не исключено, не исключено. Ну, что-нибудь и здесь придумается. А не выпить ли нам бутылочку доброго сухого вина? — вдруг от души предложил профессор. — А то мы… — Он хотел еще сказал: «А то мы что-то никак не наладим добрые отношения — все что-то с подковыркой говорим». Но Иван и Нюра в один голос дружно сказали:

— Нет.

— Что так?

— Нет! Большое спасибо.

— Не понимаю…

— Он у меня непьющий, — пояснила Нюра.

— И некурящий, — добавил Иван.

Профессор посмотрел на него.

— Золотой мужик.

— Подарок, — еще сказала Нюра. — На балалайке играет.

— А при чем тут — золотой? — спросил Иван.

— Ну — непьющий, некурящий… Денег, наверно, много?

— Откуда? — воскликнула Нюра. — Мы вот поехали к югу, и только-только наскребли на билеты в один конец. С грехом пополам… назанимались…

— А как же оттуда? — удивился профессор.

— Да не знаю как… Как-нибудь.

Профессор смотрел на сельских жителей — он, правда, не понимал, что происходит.

— Я вот, допустим, тракторист, — стал рассказывать Иван, — она — доярка… Откуда же у нас деньги? От сырости, что ли? Вот вы говорите — выпьем. Я б выпил, приласкал душеньку… Только она, рюмочка-то, кусается нынче. Я вот к вечеру-то наломаюсь хорошо, иду мимо магазина — эх, двести бы граммчиков! А? А в уме прикинешь — рубль с лиху… слишком это, знаете, чувствительно. Так уж придешь домой да нормального само… вот! И все, и проходишь мимо магазина. Попьешь молочка дома и ложишься спать. Вот

он, желудок-то, и не подготовлен к вину. Даже к хорошему. А я выпил бы сейчас с вами. С удовольствием…

— Его сразу стошнит.

— Да, сразу…

— Чувствую, — заговорил профессор серьезно, — ломаете дурака, Иван Иваныч…

— Иван Федорыч.

— Иван Федорыч… Ломаете дурака, Иван Федорович, а не пойму — зачем?

— Вы одного конструктора знаете? — в лоб спросил Иван.

— Я их много знаю, не одного… А что?

— Да нет, ничего, все ясно. По железной дороге, да?

— Что «по железной дороге»?

— Без мостов. Система игрек?.. Пожилой человек. Не стыдно?

— Вань!.. — взмолилась Нюра.

— Да пошли они к…! — открыто обозлился Иван. — Бессовестные. Люди за копейку-то горб ломают, а эти — стянул чемодан, и радешенек, и богатый, хорошее вино пьют, коньяки… Есть у меня деньги, есть! — не подговаривайся! Только попробуй возьми хоть один рубль — вот, видел? — Иван показал увесистый кулак. — Бы-

ка-трехлетка с ног сшибаю…

Профессор понюхал протянутый кулак.

— Да, могилой пахнет. Серьезный кулак. Надежный. И все же тут какое-то недоразумение, Иван. Вы меня за кого-то другого принимаете… Хотите, я приведу проводника, он объяснит вам? А ему я покажу документы. Хотите, вам покажу?..

— Не нужны мне ваши документы. И ходить никуда не надо. И я никуда не пойду — не мое дело. А поживиться здесь не удастся, заранее говорю.

— Нет, я все-таки схожу. А то этак мы всю дорогу и будем подозревать друг друга…

Профессор вышел.

— Вань, — встревожилась Нюра, — не зря мы человека-то обидели?

Иван молчал. Ему тоже сомнение вкралось в душу.

— А, Вань?

— А я откуда знаю? — взорвался Иван. — Иди разбери их… Откуда он, пуд золота-то? — Иван пнул профессорский чемодан. — Может, кокнул кого-нибудь в тайге — вот и…

— Да шибко уж не похожий.

— А тот был похожий?

— Господи, Господи, — только и сказала Нюра. — Правда, трудно понять людей.

Вошли профессор с проводником. Проводник ухмыляется.

— Ты чего это тут бдительность развел? — спросил он. — Это товарищ Степанов, профессор, из Москвы… Тебе уж теперь на каждом шагу будут воры казаться. Некрасиво, обидел товарища…

— Насчет обиды — это не надо, — попросил профессор. — Никакой обиды.

— Ну как же?:.

— Никакой обиды! Хорошо, что все объяснилось.

— Давай тут… не очень! — счел нужным еще сказать проводник Ивану. — Какой же он вор! Хоть немного-то разбирайся в людях.

— Ты много разобрался в том конструкторе… которого без билета посадил? — обиделся Иван на нравоучения лакеистого кондуктора. — Бегал тут… икру метал. Еще ухмыляется!

— Ну-ка! — прикрикнул проводник. — Давайка, приведи себя в порядок! Не очень тут!.. Не дома на печке. Устраивайтесь, товарищ профессор.

— Я устроюсь. Хорошо.

— Если он будет тут чего-нибудь фордыбачить, скажите мне… Мы его живо приструним. Мы ему…

— Да идите вы к дьяволу! — вскричал вдруг

профессор. — Чего вы пристали к человеку?!

Проводник опешил. Молчал.

— Извините, пожалуйста! — сказал профессор. — Спасибо. Мы теперь сами разберемся. Идите.

— Ну, давайте, — сказал проводник. — Ничего. — И ушел.

— Фу-ты, дьявольщина какая! Нехорошо как…

— Товарищ профессор, вы уж простите нас ради Бога, — сказала Нюра. — Обознались мы…

— Да что вы!.. За что? Я, старый дурак, поперся к проводнику… Надо было самим разобраться.

Иван, опозоренный, молчал, насупив брови.

— Попроси прощения! — строго велела Нюра. — Язык-то не отсохнет.

— Та-а… — Иван сморщился. — В этом, что ли, дело?

— Забудем все недоразумения! — решительно сказал профессор. — Нам же далеко ехать!.. С какой стати мы испортим себе дорогу? Иван!..

А поезд опять подходил к станции.

И опять перронная кутерьма… Приехали. Уезжают.

В вагон, где ехали Иван, Нюра и профессор, садилась большая гитаристая группа студентов — юноши и девушки, большинство — девушки.

Поезд тонко закричал…

Иван с профессором пригубили-таки из высокой бутылки дорогого вина. Профессор — с блокнотом в руках — экзаменует Ивана на предмет владения родным языком. Настроение у них хорошее; Иван относится к «экзамену» довольно серьезно; Нюра — больше на подсказках.

— Просто — ударить. Он ударил — я ударила — кто-то ударил…

— Вломил, — начинает Иван.

— Так.

— Жогнул.

— Жогнул?

— Ну — жогнул. Рраз! — жогнул.

— Ага. Хорошо. Еще?

— Тяпнул.

— Да. Еще?

— Матерно можно?

— Нет, это не надо.

— А там много вообще-то…

— Нет, лучше не надо. Кроме того, здесь женщина.

— Она слышала…

— Итак?

— Наподдал, — подсказала Нюра.

— Наподдал… Да. Невыразительный глагол.

Женский какой-то.

— Хряпнул. Ломанул.

— Вот это… глаголы! Мускулистые.

— Перелобанил. Окрестил. Саданул… Нае… Нет, не туда. Врезал. Смазал.

— Так, так, — подбадривает профессор.

— Пиннул, — опять вмешивается Нюра.

— Пиннул? Это хорошо. Пнул, да?

— Ну да. Пиннанул, у нас бабка говорит.

— Это старушечий, — снисходительно бросил Иван. — Взял на калган, — еще вспоминает он.

— Это что такое?

— Головой дал! Вот так вот. — Иван взял профессора за плечи и рывком кинул на себя и подставил голову, но, конечно, не ударил — показал.

— О-о! А калган — это голова?

— Голова.

— Это по-каковски же?

— По-русски! Кал-ган. У нас еще зовут — сельсовет. Профессор засмеялся.

— А как еще?

— Чердак.

— Чего попало! — изумилась Нюра. — Неужели вам это на самом деле нужно?

— Нужно, Нюра.

Тут в купе вошли веселые девушки-студентки

устраивать одну свою подружку. Трое.

— Нам сказали, у вас одно место свободное…

— Так точно! — приветливо откликнулся профессор. — Располагайтесь. Которая из вас? Стоп, мы сами выберем. Самую красивую.

— А ну? — Девушки все были хорошие, крепкие, голоногие. — Выбирайте!

Профессор поверх очков оглядел всех… Искренне вздохнул.

— Оставайтесь все. Выбирает тот, кто… забирает. О-о!.. — сам болезненно сморщился он. — Вот это каламбур!

Девушки засмеялись.

— Какую же?

— Какую, Иван?

Иван гигикнул, покраснел и… посмотрел на Нюру.

— Ну, раз ты уже выбрал, то мне — все равно: я свою станцию проехал, — сказал профессор.

Оставили голубоглазую грудастую Любу.

— Закончена сессия — и ноги в руки! — позавидовал профессор. — Что за институт?

— Педагогический.

— Факультет?

— Физмат.

— Физмат, и только физмат. Всемогущий физ-

мат! — огорченно сказал профессор. — Куда только прибежите со своим физматом.

— А вам не нравится физмат?

Профессор весело посмотрел на девушку с физмата.

— Милая, он вам самой не нравится.

— Почему? — растерялась девушка.

— Потому что вам нравится Лермонтов, Есенин…

— Одно другому не мешает.

— О, еще как!

— Педагогический — это, значит, будете учительствовать? — встрял в разговор Иван.

— Да.

— Да-а… — значительно сказал Иван. — Вот сейчас радуетесь, что учитесь, веселитесь — в люди выходите, а я смотрю на вас и жалею…

— Иван! — сказала Нюра.

— Что?

— Чего заборонил-то? Жалеет он. Ты что?

— А что такое, Иван? — заинтересовался профессор. — Нюра, почему вы остановили?

— Да нет, я хотел про наших учителей рассказать, про сельских…

— Ну?

— Да ладно!

— Да что же «ладно»? Расскажи.

— Достается им, бедным… Но, может, я, правда, чего-нибудь недопонимаю, а полезу рассуждать… Ладно.

— Что ты хотел сообщить, Иван? — спросил профессор строго. — Что подлинные учителя в городе остаются?

— Он сам не знает, что он хотел сообщить, — сердито сказала Нюра. — Выпил лишнего? Ложись вон, спи.

Иван только успевал поворачиваться на слова, к нему обращенные… Но молчал.

Тут из соседнего купе пришла делегация девушек.

— Сергей Федорыч… простите, пожалуйста…

— Ну, ну, — сказал профессор.

— Мы вас узнали… вы по телевидению выступали…

— Выступал. Был грех.

— Пойдемте к нам… Расскажите нам, пожалуйста… Мы вас приглашаем к себе. Мы — рядом.

— Пошли, Иван. Недалеко. — Профессор встал. — Бутылочку брать с собой? — спросил девушек.

Девушки засмеялись.

— Берите!

— Ваня, а ты бы воздержался — не ходил, — сказала Нюра.

Но Ивану очень интересно с профессором.

— Да будет тебе! Чего туг такого? Рядом же.

— Да ничего! Будешь потом по вагону бегать...

— Нюра, он не будет бегать по вагону, — пообещал профессор.

И профессор с Иваном ушли.

А луна светила!.. Ночь шла по земле, выстилая на полях белые простыни.

Жутковато, гулко прогудел мост... Поезд выскочил из его железной паутины и громко закричал, радуясь воле.

Выбежали к дороге белоногие березки — и такие они ясные, белые под луной, такие родные... И грустные. Смотрят вслед поезду.

— А вот вы приезжайте, посмотрите! — шумел в купе, где студенты, щедрый, размашистый Иван. — Вот тогда узнаете, как я живу!..

Студентам весело. Ивану тоже.

Только профессор как-то задумчиво смотрел на Ивана: не то ему жалко Ивана, не то малость неловко за него.

— А косить мы будем?

— А зачем косить? У нас теперь машины косют... А-а, так — в охотку? Можно покосить. Я вас

устрою. Но это, ребятки, тяжело. Лучше мы с вами сядем в лодочки… Как в песне-то поется:

С сестрой мы в лодочку садились,
Тихо-онько плыли по волна-ам…

Студенты засмеялись.

— А «Волга» у вас есть?

— А зачем она мне? Я без «Волги» вот так живу! Я, ребятки, живу крупно. Чего только у меня нет! У меня — зайдешь в дом — пять ковров сразу висят. Персидских.

— А шкура медвежья есть?

— Три штуки. Одна в прихожке — я сапоги об ее вытираю, одна в детской, детишки на ней играют, волосья дерут… Дальше, посмотрим направо — барометр висит…

— А громоотвод?

— Громоотвод — на крыше. Я пока внутренность описываю. А налево, как зайдешь, — сервант на тоненьких ножках. Я его один раз — с получки — задел нечаянно, на сорок восемь рублей одной только посуды расколол…

— Жена вам — скандал?

— Не, она у меня не базланит. Это не то что есть некоторые… Ох, не будьте такими — это хуже всего на свете. Тут и так-то… не сладко, а если

еще и дома… Если я устал как собака, я посплю, отдохнул — можно снова за работу. А если еще дома… Нет, это плохо. Хуже нет.

— Вы же говорите, вы хорошо живете.

— Я-то хорошо! Я про других. Я-то — дай Бог каждому! Я, допустим, прихожу с работы: «Ну, Нюся, давай корми, голубушка». Она на стол — картошку с мясом. Мясо у меня круглый год не выводится. Свинота эта у меня вот здесь сидит. — Иван хлопнул себя по загривку. — Ох, и прожорливые же!.. Иной раз взял бы ружье и пострелял всех к чертовой матери. А если, бывает, совсем здорово устанешь на работе, я сразу, с порога: «Ну, Нюся…»

Нюра сидела одна у темного окна, слушала песни по радио.

Вошел профессор.

— Ну, Нюся!.. Что, скучаем?

— Что он там? — озабоченно спросила Нюра.

— Иван?.. Да ничего особенного, не беспокойтесь. Рассказывает студентам, как он хорошо живет, богато.

— Тьфу, трепло! Вот трепло-то! Пара штанов завелась лишняя да рубаха-перемываха… Богач! Вот, знаете, так мужик — ничего, грех жаловаться: ребятишек любит, меня жалеет… Но как выпьет,

тут уж держись: или хвастать начнет, какой он богатый, или в драку лезет. И ведь сколько уж раз учили, дурака, один раз голову стяжком проломили — неймется! Нальет глаза, и все нипочем: на пятерых — на пятерых лезет.

— Часто пьет?

— Да нет, так-то грех тоже жаловаться. Работает-то он, правда, много. У их все в роду — работники. Его уважают. А вот есть эта дурацкая замашка… Как праздник подходит, так у меня душа загодя болит. Люди веселятся, а я сижу дома, жду: счас прибегут, скажут: «Ванька дерется!»

Профессор вздохнул.

— Смеются там над ним? — спросила Нюра.

— Да нет… Ну, молодые: им палец покажи, они смеяться будут. Там все беззлобно… Сострить опять же можно. Только… — Профессор не стал говорить, что это «только». — Ничего. Не беспокойтесь.

— Как же не беспокоиться — не чужой. Сердце-то болит.

В купе, где студенты, слышно, запели под гитару нечто крикливое, бестолковое:

В трюмах кораллы и жемчуг;
Весел пиратский бриг.

Судно ведет с похмелья
Сам капитан-старик…

— Пираты, — в раздумье молвил старик профессор. — Пираты, ковбои… Суровая зелень. Отчаянный народ.

В купе заглянул курносый парень.

— Это у вас?

— Что?

— Пели-то.

— Нет, это по соседству, — сказал профессор. — Они уже перестали. Слова списать?

— Я бы их так запомнил… Хорошая песня.

— Куда путь держим? — спросил профессор.

— В Крым. — Курносый присел на диван. — Второй раз. Опять радикулит… Замучил.

— Болит? — посочувствовала Нюра.

— Болит, — отмахнулся курносый, настраиваясь поговорить о другом. — Во народу где! Идешь по пляжу — тут женщина голая, там голая — валяются. Идешь, переступаешь через их…

— Совсем голые?! — удивилась Нюра.

— Зачем? В купальниках. Но это же так — фикция. Я сперва в трусах ходил, потом мне один посоветовал: «Купи плавки!» Так они что там делают: по улице и то ходят вот в таких вот шта-

нишках — шортики называются. — Курносый чуть подсюсюкивал, у него получалось — «станиски», «сортики». — Ну, идешь, ну, смотришь же… Неловко вообще-то…

— Ну да, — согласилась Нюра, — другая и по морде даст.

— Да нет, там это само собой разумеется. Но вообще-то неловко. Ну, мне там один тоже посоветовал: ты, говорит, купи темные очки — ни черта, говорит, не разберешь, куда смотришь…

— Во!

— Заходишь вечером в ресторан, берешь шашлык, а тут наяривают, тут наяривают!.. Он поет, а тут танцуют. Ну, танцуют, я скажу! Вот собаки! Сердце заходится. Так глядишь — вроде совестно, а потом подумаешь: нет, красиво! Если уж им не совестно, чего же мне-то совестно? Ритмичность… везде ритмичность. Там один тоже стоял: бесстыдники, говорит, что вытворяют! Ну, его тут же побрили: не нравится, говорят, не смотри. Иди спать. А один раз как дали «Очи черные», у меня на глазах слезы навернулись. Такое ощущение (осюсение), полезь на меня десять человек — не страшно. Я чуть не заплакал. А полезли куда-то на гору, я чуть не на карачках дополз — ну, красота! На всех пароходах — музыка. Такое осюсение,

что музыка из воды идет. Спускаемся — опять в ресторан…

— Это ж сколько денег просадить можно?! — сказала Нюра. — Тут ресторан, там ресторан…

— Они там на каждом шагу! Мне там один тоже говорит: первый и последний раз. Корову, говорит, целую ухнул. Нет, там есть пельменные вообще-то. Три порции — от так от хватает…

…А в купе, где Иван, некто молодой, очень красивый, пел под гитару очень красивую песню — про «Россию-матушку».

За Россию-матушку – все умны,

За Россию-матушку – все смелы…

Иван слушал, стиснув зубы. Песня очень ему нравилась. Вошел курносый (курортник), присел, тоже стиснул зубы. Ему тоже очень понравилась песня.

Песня кончилась.

Все посидели молча… Курносый спросил гитариста:

— А «Очи…» можешь? Дай «Очи…»!

Иван пристукнул кулаком по колену… Встал и пошел из купе.

И запел в коридоре:

С сестрой мы в лодочку садились,

Потом Иван вошел в свое купе.

— Дорогие мои, хорошие… — заговорил он было. Но профессор с Нюрой говорили негромко между собой, и Иван смолк.

А профессор и Нюра, не обращая на Ивана никакого внимания, продолжали говорить. И очень даже странно они говорили:

— Прямо не знаю, как вам и сказать… — раздумчиво сказала Нюра. — Все же у меня двое детей… да маленькие такие!..

— Господи! — тихонько воскликнул профессор. — Ну и что? И прекрасно. Он как раз детей очень любит. У него под Москвой домик… будете жить-поживать да добра наживать. Он не пьет, не буянит, сроду никогда грубого слова не сказал. Как у Христа за пазухой будешь жить. Решайся.

— Прямо не знаю… — тихо и грустно опять сказала Нюра. — Если уж честно-то: конечно, мне надоела такая жизнь. У людей праздник, а у меня загодя душа болит. Или ехать куда: опять, думаешь, какая-нибудь история… А ему сколько лет-то?

— Тому человеку-то? Семьдесят. Но он еще в форме… Седой такой, головку носит гордо — красавец. Он всю жизнь танцевал в оперетте,

поэтому… головку умеет держать.

— Многовато вообще-то…

— Да я же говорю: он любого молодого за пояс заткнет! Ну, и потом — культура! Там же через каждое слово — «мерси», «пардон», «данке шен»… Ты хоть отдохнешь от этих всяких «чаво» да «надысь»…

— Да охота, конечно, пожить, как…

— Я извиняюсь, — вмешался Иван, заметно трезвея. — Про кого тут речь?

— Дело же не в том даже, что самой пожить, — продолжала Нюра, не слыша и не видя Ивана, — а в том, чтобы детей воспитать на хорошем примере. Сейчас-то — что за пример они видят!

— Я же про то и говорю! — подхватил профессор. — Пример же будет.

— Я подумаю, — сказала Нюра.

— Подумай-подумай.

— Ну и что, что семьдесят: я за ним ухаживать буду…

— Так, а что там ухаживать-то: утром отнес его в садик, посадил в креслице — и сиди он себе, «мерсикай». Ест мало, кашку какую-нибудь сварил, он покушает, и все. А вечером…

— Слушайте, — заговорил Иван, угрожающе округлив глаза. — Я говорю, я извиняюсь, но я же

— тут! В чем дело?!

— А, ты тут? — «спохватилась» Нюра. — А мы и не слышим — заговорились с Сергеем Федорычем. Давно пришел?

— Да как тихо вошел! — удивился и Сергей Федорыч.

— В чем дело? — спросил Иван.

— Ни в чем.

— Кому семьдесят лет?

— Мне, — сказал профессор.

— Нет, я же слышал…

— Ложись-ка спать, Ваня, — мирно сказала Нюра. — Ложись. Лезь вон на полку и засыпай. Все рассказал людям, рассказал, как живешь, спел… чего еще? Свою норму выполнил — можно и на боковую. Лезь, Ванюшенька, лезь, милый. Лезь баиньки. Давай.

— Я ничего не понимаю, — пробормотал Иван.

— Завтра поймешь. Завтра все поймешь.

Иван полез на верхнюю полку и затих.

Пришла Люба… Прошуршала в полутьме платьем, легко запрыгнула на полку и тоже затихла.

Профессор с Нюрой остались сидеть у окна.

— Что же, правда, что ли, там такая жизнь?.. — спросила Нюра тихо. — Парень-то рассказывал…

— Нет, — тоже тихо откликнулся профессор. —

Впрочем… что-то есть и от правды.

— Гляди-ка, корову, говорит, целую ухнул… Неужели можно?

— А сколько корова стоит?

— Четыреста — четыреста пятьдесят… А с телком — так и больше.

— Можно. Можно и корову с телком ухнуть… На Руси умеют коров ухать.

Все, наверно, спят в длинном поезде.

Не спят только на паровозе.

Машинист, пожилой уже человек, глядя вперед, вдруг спросил молодого помощника:

— Кольк, знаешь, как в отделе кадров бухгалтера подбирали?

— Знаю. Третий сказал: «А сколько вам надо?» Ты уж седьмой раз рассказываешь.

Машинист засмеялся.

— Придумают же!.. Смешно.

— Анекдот-то — вот с такой бородой.

— Все равно смешно. Интересно, кто их сочиняет?

Колька пожал плечами.

— Люди…

— Я вот хочу какой-нибудь сочинить, и никак не выходит.

Нюра спит… Но вот какая-то далекая тревога отразилась на ее спокойном лице.

Она увидела сон.

Распахнулся огромный, с плющом, с фикусами в огромных кадках, сверкающий зал ресторации. И весь он ходуном ходит. Полуголые девицы, волосатые парни зашлись в танце… «Очи черные».

Гремит и кривляется «ритмичная жизнь». То ли это какой-то вселенский шабаш, то ли завтра — конец света. Не архангел ли Гавриил дует в свою сзывающую трубу, и нет ли тут — среди обаятельных дам и джентльменов — этих, с хвостиками и на копытцах?

С трудом продралась Нюра через гремящий, орущий, бесноватый зал… И вышла к столу, где пирует ее Иван. Он славно пирует! По бокам его почти голые девицы, смеются, пьют шампанское…

— Пойдем домой! — сказала Нюра.

Иван отрицательно покачал головой. И усмехнулся.

И сильней грянула музыка, и пошли кривляться вовсе безобразно…

Нюра пошла к выходу. Ей в лицо смеялись, девицы проплывали у нее перед носом, подергивая плечиками…

И вдруг Нюра остановилась. И заткнулась музыка… И все замерли. Нюра опять пошла к столу… И с ее шагами, сперва тихо, потом громче стала нарастать удалая, вольная музыка «Из-за острова на стрежень».

И сам Иван сидит за столом в облике Стеньки Разина… И грозно смотрит на Нюру.

Нюра подошла, выдернула мощной рукой его из-за стола и дала пинка под зад. И сама пошла следом за ним.

На пороге, в дверях, оглянулась и произнесла гневную речь.

— Эх вы! — сказала она. — Смеетесь?! Над кем смеетесь?! Это над вами смешно-то. Это мне надо смеяться-то, а не вам. Что вы делаете?! Как вам не стыдно?! Девушки!.. Зачем заголились? Чтобы мужиков приманивать? Да если ты хорошая, если ты человек хороший, мужик и так увидит. На вас же глядеть муторно! Тьфу!.. В такие-то годы — работать да детей рожать, а вы с ума сходите.

За Нюрой, за ее спиной, стали появляться мужчины пенсионного возраста и тоже укоризненно смотрели. И молчали.

— Мой вам совет: прекратите это и займитесь полезным трудом!

Положительные мужчины за Нюрой захло-

пали.

— Чтобы я этого больше не видела!

Мужчины опять захлопали…

Нюра проснулась, полежала немного и шепотом позвала:

— Вань!..

Иван спал глубоким сном.

Нюра встала, потрогала его на верхней полке… И опять легла. И закрыла глаза.

Утром проснулся Иван с больной совестью. Проснулся и не поворачивался, лежал тихо.

Профессор негромко рассказывал Нюре и Любе нечто далекое из юношества.

— Я тоже был гордый! Я очень красиво выразился: «Не моя воля, что я родился под этой крышей, отныне моя воля в том, что я навсегда ухожу отсюда!» Во как сказал! Я был позер. В двадцать лет все позеры.

— Почему все? — возразила Люба.

— Все, без исключения, — подтвердил профессор.

— Ну а дальше? — попросила Нюра.

— Я ушел. Простите, уехал.

— А она?

— Она осталась.

— Но вы же любили ее!

— Да. Но себя я тоже любил. Себя я любил больше. Я ушел в Вологду, в Вологодчину, в деревню. Я стал учителем. Это было прекрасное время!.. Знаете, ближе к осени, когда с осины упадет первый лист, воздух в лесу — зеленый…

— Что же дальше? — все не терпелось узнать Нюре.

— Дальше… Я встретил там Машу… Свою Марью Ивановну. И все.

— А Катя?

— А Катя встретила своего… какого-нибудь Василия Ивановича — баш на баш.

— А кто раньше встретил: Катя или вы? — спросила Люба.

Профессор засмеялся.

— Вот что значит — не романист я! — пропустил такую главу… Катя встретила первая. Я был очень далеко… в деревне — с экспедицией. И там я узнал. И ушел в свою деревню. На этот раз я ушел пешком. Я шел пешком сто двадцать верст…

— Что же, никто не мог подвезти?

— Я не хотел. Я нес свое горе, страдал! Не на телеге же страдать. И, знаете, я правильно сделал, что протопал эти сто двадцать верст. Я не верю в скоротечные — в одну ночь — перерождения… Но в сто двадцать верст вологодских дорог я верю.

Много я передумал всякого… Много понял.

— Господи, прямо как в книге, — сказала завороженная Нюра.

— Вот это-то я и понял главным образом: что все это — мое горе, мои страдания — это пока роман. Но еще не жизнь. Жизнь началась потом…

— А к отцу-то вы вернулись?

— Нет. Уже не вернулся. И вообще дальше уже… нечто иное. Не роман. Но роман был захватывающий… А?

Обе в один голос — и Нюра, и Люба — воскликнули:

— Очень интересно!

— Очень!

В купе заглянул проводник:

— Чайку желаете?

— Желаем! — сказал профессор. — И побольше, пожалуйста. Десять стаканов. Скажите, а газеты здесь носят?

— Нет, газеты на станциях.

Иван воспользовался приходом проводника, скоренько надернул под простынью штаны, слез с полки.

— Здравствуйте, — сказал невнятно, взял полотенце и ужом выскользнул из купе.

— Стыдно, — сказала Нюра.

— Чего? — не понял профессор.

— Ну… вчера хватил лишка, сегодня стыдно. Весь день молчать будет.

— Ну, зачем же так? Так даже скучно.

— Ничего, пускай. Пускай помается.

— Всегда так?

— Всегда. А если где подерется, то и ночевать домой не придет — в мастерской спит, у сторожа. Дня по два там живет. Совестно.

Поезд подошел к станции.

Иван, с полотенцем в руках, выскочил из вагона и побежал к газетному ларьку. Накупил газет — всех по одной… побежал обратно.

В купе готовились пить чай.

Иван вошел с газетами… Положил их на стол. Фальшиво-небрежным тоном сказал:

— Почитаем, что ли…

— Газеты! — удивился профессор. — Где достал, Иван?

— Там… — Иван кивнул в сторону станции.

— Ну как? — спросила Нюра строго.

Иван вздрогнул, быстро поднял голову и опустил. Спросил тоже скоро, испуганно:

— Что, что?

— Ничего!

— А что? Ничего. А что?

— Ничего… и совесть спокойна, и душа не болит?

— А что, что? — тихо, впробормот спрашивал Иван. И ни на кого не глядел.

— Крепкая же у тебя совесть… — Нюра взяла полотенце и пошла умываться.

Профессор с Иваном остались одни. (Люба ушла к своим.)

— Попало? — спросил профессор.

— Та-а… — Иван поморщился, не поднимая головы. Он читал газету, которую разложил у себя на коленях.

— Голова болит?

— Не! — поспешно, с бодрецой откликнулся Иван. Но головы опять не поднял.

— У меня есть бутылочка сухого… Выпьешь?

Иван глянул на дверь.

— Она долго не придет — там очередь. Выпей, легче станет.

— А вы?

— Я не хочу… У меня не болит.

Профессор достал из чемодана длинную бутылку. Сам тоже посматривал на дверь. Налил стакан. Иван одним махом оглушил стакан.

— Ху!..

— Еще?

— Нет. Спасибо.

— Тяжело бывает после выпивки?

— Да не то что тяжело — муторно.

— Но ты особо-то не переживай, ничего вчера безобразного не было.

Иван мучительно поморщился.

— Трепался, наверно!.. Гадский язык: обязательно натрепаться! Ненавижу себя за это!.. Один раз, знаете, поехал на мельницу. А мельница у нас в другом селе, за пятьдесят километров. Смолол. Ну, выпили там с мужиками… И чего мне в башку влетело: стал всем доказывать, что я Герой Социалистического Труда.

— О!

— Ну! Меня на смех, я в драку… Как живой остался! — их человек восемь, мужиков-то.

— Да-а. А вчера что-то быстро ты захмелел-то?

— Да я же еще днем коньяк пил! С этим ворюгой-то. Ну и развезло — ерш получился. А так-то не слабый… А чего я говорил там?

— Где? У студентов? Рассказывал, как ты хорошо живешь.

— О-о!.. Вот же козел!

— Ну а как жизнь вообще-то? Если не трепаться…

— Да ничего живу… Нормально. Я не гонюсь

за богатством. Мне бы вот ребятишек выучить — больше ничего не надо. Ничего так-то — все есть. Телевизор есть, корова есть. Свинья даже есть, хоть я их ненавижу, собак, — прожорливые. Все есть, я не жалуюсь.

— Иван, ты хотел про учителей рассказывать… Расскажи?

Иван посмотрел на дверь купе…

— Ладно, — сказал профессор, — мы еще выберем время.

Велика матушка-Русь!

И на восходе солнца, и на заходе солнца, и бельм днем и ночью — идут, идут, идут поезда. И куда только едут люди? Куда-то все едут, едут…

Молоденький офицерик, от которого вкусно пахнет маминым молоком, говорит миловидной соседке по купе:

— Все это хорошо, но это — сплошная чувствительность. Мы сегодня — не те.

— Но это же прекрасно, — неуверенно сказала соседка. И прочитала:

Будто я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

— Не мужские стихи, — проговорил жестокий

лейтенант. — Розовый конь — это не из двадцатого века. Согласитесь.

Как тут не согласиться! И миловидная соседка пожимает плечами, что можно понять, как «пожалуй».

Две дамы от души состязаются в любезности.

— Позвольте, разрешите, я полезу на верхнюю полку.

— Да нет, зачем же? Я могу туда прекрасно полезть.

— Но меня это нисколько не затруднит!

— Меня это тоже ничуть не затруднит. Что вы!

— Прошу вас, устраивайтесь внизу. Честное слово, меня ничуть не затруднит…

— Нет, пожалуйста, пожалуйста…

Внизу на диване полулежит здоровенный парнина и, отложив «Огонек» в сторону, с интересом слушает дам.

А вот — дядя… Вооружившись мешком и чемоданом, таранит встречных и поперечных в проходе общего вагона. Ему кричат:

— Что же ты прешь, как на буфет! Дядя!..

— Ну, куда? Куда?

— Эй!.. Можно поосторожней?!

Дядя — ноль внимания. Трудный опыт российского пассажира подсказывает ему, что главное

— занять место. Можно себе представить, что когда-нибудь все вагоны будут купейные, а если будут общие, то в них будет свободно… И что же будет? — тоска зеленая!

Едут, едут, едут…

Спят…

Читают…

Играют в карты…

Играют в домино…

Рассказывают друг другу разные истории из жизни…

Едят…

Едят…

Едят…

Иван двинул с дороги письмо домой.

"Здравствуйте, родные: теща Акулина Ивановна, дядя Ефим Кузьмич, тетя Маня, няня Вера, дед и детки: Валя и Нина! Во первых строках моего письма сообщаю, что мы живы-здоровы, чего и вам желаем. Пишу с дорога, поэтому еще конца нет. Едем мы хорошо, но я по ошибке схватил купейный билет, но зато едем без горюшка. Едем по просторам нашей необъятной родины, смотрим в окно. Погода стоит хорошая — градусов двадцать пять по Цельсию. Один раз ходили в вагон-ресторан. Взяли на первое — по борщу, на

второе — бистроганов. Едет с нами один старичок профессор, очень хороший. Ну, были другие разные происшествия — приедем, расскажем. Поедем мы через Москву. И вот этот самый профессор говорит, что когда приедем в Москву, то сможем у него остановиться хоть на сколь — у него пятикомнатная квартира. Ну, Нюра поддержала это предложение, потому что ей охота посетить ГУМ. Я тоже наметил для себя кое-какие места, например, зоопарк. Если удастся, съезжу в крематорий. Об нас не беспокойтесь. Берегите детей.

Иван".

И вот — Москва.

По радио торжественно объявили:

— «Граждане пассажиры! Наш поезд прибывает в столицу нашей Родины — город-герой Москву!»

Нюра и Иван заметно взволновались. Особенно Нюра.

Профессор с интересом наблюдал за ними.

— Ваня!.. Глянь-ка, дом-то! Вань! — вскрикивала Нюра.

Ивану тоже страсть как интересно, но он сдерживал себя. И Нюру.

— Чего ты орешь-то? Чего орешь-то? — Он даже посмеялся, пригласив взглядом и профессора —

тоже посмеяться вместе над Нюрой. — Ну, дом… колоколенкой.

— Гостиница «Ленинградская», — сказал профессор.

— Сколько этажей? — спросил деловитый Иван.

— Черт его знает!.. Понятия не имею.

Поезд остановился.

Профессор и Иван с Нюрой вышли на перрон… Профессор высматривал кого-то в толпе.

— Сын должен встретить, — пояснил он. — Иван, расскажи ему про учительницу… Вообще поговори с ним, а то эти молодые ученые… решили, что они все знают…

— Тоже ученый? — полюбопытствовал Иван, но только заради одной голой вежливости, потому что ему куда как важнее все, что вокруг него.

— Постоим тут, — велел профессор. — А то разминемся.

Остановились в сторонке от потока.

— Народу-то, народу-то! — все изумлялась Нюра.

— Миллионов десять живет? — поинтересовался точный Иван. — Или побольше?

— Понятия не имею! — несколько даже гордо ответил профессор. — Это наши ученые знают…

Знают, а ничегошеньки сделать не умеют. Вавилон растет и растет. Вон он! О-о!.. Одна поступь чего стоит!.. Ужасно самовлюбленный народ… — Профессор помахал рукой.

— Чую, батько! — громко сказал высокий молодой человек, выдираясь из людского потока.

— Наконец! — сказал веселый, иронический профессор.

Они поцеловались. Профессор представил сына:

— Сын.

— Иван, — сказал сын.

Иван тоже назвался:

— Иван.

Профессор засмеялся.

— Нюра, — сказала Нюра. И подала ладонь лодочкой.

— Это мои гости, — пояснил профессор. — Мать здорова?

— Относительно…

— Твои?

— Все в порядке. Хорошо съездил?

— Хорошо. Пошли, пошли, чего мы стоим? Пошли.

— Тебе звонили из…

Трое наших затерялись в толпе.

А «миллион народа» все двигался и двигался, говорил, кричал, толкался, торопился, нервничал…

Хозяина и гостей в квартире профессора встретила довольно толстая, круглолицая Мария Ивановна.

Перецеловались, перезнакомились в прихожей…

— Проходите сюда! — позвал размашистый, великодушный профессор. — Иван!..

— Да, папа?

— Не ты, Иван-гость. Ну и ты — давайте сюда! Иван-сын, как у тебя день?

— У меня лекции. Я отпросился тебя встретить.

— «Лекции», «лекции», — недовольно заметил профессор. — Поговорил бы лучше с живыми людьми — это не социологические столбики с цифрами…

— Социология — это как раз живые люди, — отрезал сын. — Вечером мы с удовольствием поговорим.

— Вечером у вас Дом кино, театр, друзья… Послушал бы, правда. Иван, расскажи ему про учительницу…

Где-то в одной из комнат затрещал телефон. Иван-сын скоро пошел туда.

— А ведь какая видимость деятельности! — все ворчал профессор.

Иван и Нюра не понимали: всерьез профессор чем-то недоволен или же это такая его манера говорить дома?

— Папа, тебя! — позвал сын.

Профессор пошел к телефону.

Супруги Расторгуевы на малое время остались одни.

— Опять вылетел с языком? — сердито, негромко заговорила Нюра. — Чего рассказывал про учительницу-то? Про какую учительницу?

— Да это… про Федорову…

— Тьфу! Вот пропишут куда-нибудь в газету!.. Сказал — рассказал такой-то. Чего рассказывал-то?

Иван лихорадочно обдумывал положение.

— Ну, во-первых, можно сказать, что я был выпивши… Спьяну молол. Так? Потом, я говорил, что она получает сто рублей… Но я же забыл алименты! Сорок семь рублей алиментов. Сто сорок семь — не такая уж это бедность.

— Дрова бесплатно привозют, — подсказала Нюра.

— Налогов меньше. Телефон провели, а мне, допустим, фигу…

— Для чего он тебе, телефон-то?

Иван сердился, что не понимают тонких извивов его мысли.

— Да здесь-то, для сравнения-то, надо чего-нибудь говорить! Мало ли, что он не нужен, делай вид, что пропадаешь без телефона…

— А чего ты ему говорил-то?

— Та-а…

— Ванька, скажи! Я, может, чего-нибудь придумаю — выручу тебя. Чего говорил-то?

— Ну, говорил, что я, необразованный человек, живу лучше ее… Ненормально, мол, это. Оно, так-то подумать — ненормально, конечно. Она наших детишек учит, а живет хуже… Да я готов ей вскладчину допла…

В комнату вошли профессор с сыном.

— Ну иди, иди, — говорил отец. — Ай да наука!.. Наизусть на дом не задают?

Иван-сын пожал плечами и вышел.

Иван-гость и Нюра сидели на стульях прямо, неподвижно.

— Иван, Нюра… вы распрямитесь как-нибудь… Чувствуйте себя свободней!

Иван пошевелился на стуле, а Нюра — как сидела, так и осталась сидеть — в гостях-то она знала, как себя вести. Она только чуть улыбнулась и

чуть кивнула головой.

Профессор пошел на кухню.

— Они надолго? — спросила Марья Ивановна.

— А что? — наструнился профессор.

— Ничего, просто спрашиваю.

— Мне показалось — не просто.

— Но я должна подумать, рассчитать…

— Изволь, они пробудут здесь две недели, — спокойно сказал профессор. И даже не стал смотреть, как удивилась Марья Ивановна. — Приготовь завтрак.

— Почему две недели? Они же куда-то дальше едут…

— Они едут на юг. А почему бы им не пожить две недели в Москве? У них это не так часто случается.

— Пожалуйста, пусть живут. Почему ты нервничаешь?

— Я? Нисколько.

— Только очень тебя прошу: води их по Москве сам, не проси Ивана — ему действительно некогда.

— Я знаю, у него лекции.

— У него лекции, да, — стала утрачивать спокойствие Марья Ивановна. — Если тебе…

Иван-гость осмелел в большой, обставленной

книжными шкафами комнате. Прохаживался, смотрел книги.

— Не тронь! — сказала Нюра.

— Чего?

— Сядь и сиди. Не лазий там. Чего ты там забыл?

— Книги смотрю… Что тут такого? Все культурные люди так делают.

— Культурные люди в чужом доме сядут и сидят.

— Ну и неправильно! Надо… развязней быть. Поговорить…

— Ты уж один раз поговорил… Говорун…

— Конечно. А то сидим, как аршин проглотили. Надо, чтоб мы людям не в тягость были… Чтоб интересно с нами было, — учил Иван.

— Откуда только набрался! Возьми вот расскажи, как вы в прошлом годе от медведя чесали. Пусть люди похохочут…

Вошел профессор, весело объявил:

— Сейчас будем завтракать!

Нюра не шевельнулась.

А Иван кивнул головой одобрил:

— Хорошее дело.

— Ну, так как вам Москва-то?

— Очень большая, — вежливо сказала Нюра.

— Вавилон! Заметьте, однако: за последние годы рождаемость в городах упала в два раза. А прирост населения в полтора раза увеличился. Опять отдувается деревня-матушка. Не хотим мы рожать в городе, и все тут. Нам некогда, мы заняты серьезной деятельностью!.. Охламоны.

Марья Ивановна, собирая на стол, заметила с упреком:

— Не утомлял бы гостей, товарищ профессор. Сам же…

— Им это полезно знать.

— Сына упрекаешь за лекции, а сам…

— Это цифры ученых. Социология.

— Что же здесь плохого, если они знают эти цифры? Они этим занимаются… Они ставят перед обществом вопросы.

— Честные, деятельные люди перед собой ставят вопросы, а не…

В дверь в это время позвонили. Марья Ивановна пошла открывать.

Вошел пожилой человек, по облику тоже профессор… Лысый. Поздоровался.

— Приехал?

— Приехал.

— Ну как? Полностью сельский человек?

— Не говорите! С собой даже привез… На сына

набросился — за лекции…

— Предлагает ехать в деревню? — с улыбкой спрашивал лысый профессор, снимая плащ. — В народ?

— Теперь это надолго, — вздохнула Марья Ивановна.

Лысый профессор погладил лысину, вошел в комнату.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте!.. С приездом. — Лысый уселся в удобное кресло, с улыбкой осмотрел хозяина. — Как поживает деревня-матушка?

Профессор-хозяин тоже изобразил обаятельную улыбку.

— А как себя чувствует Вавилон?

Профессор-гость не снимал игривого тона:

— Ну, ему-то что сделается! Растет. Шумит.

— Нет, это не рост — нагромождение, — сказал хозяин. — Рост — нечто другое… Живая, тихая жизнь. Все, что громоздится, то ужасно шумит о себе.

— Гуманитарии всякий раз забывают один простой и вечный закон природы: тело не упадет, если сохранит скорость… Не нам с тобой, Сергей Федорыч, дорогой, исправлять этот закон. Будут расти, шуметь, строить. Постараются сохранить

скорость.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласила хозяйка к столу.

И тут Нюра совсем выпряглась.

— Спасибо, спасибо, — сказала она. — Мы утром чай попили…

— Да вы что! — воскликнул профессор-хозяин. — Ну-ка, давайте…

— Да не беспокойтесь, мы где-нибудь в столовой…

Даже Иван понял, что это уж слишком.

— Садись, что ты?

— Садитесь, пожалуйста, — пригласила и хозяйка. — Зачем же идти в столовую, когда можно дома?

— Мы в столовой-то, знаешь, сколько время потратим! — убеждал жену Иван. — А тебе интересней по магазинам походить, сама говорила.

Нюра сдалась:

— Ну, можно закусить немного…

Когда сели уже за стол (профессор-гость отказался, просматривал записи, привезенные хозяином), пришла Люда, невестка, высокая, статная, очень красивая. Иван неприлично открыто засмотрелся на нее.

— Это мои гости, — сказал профессор-хозяин.

— Очень приятно.

— Людмила… как у тебя день?

— У меня с двух часов заочники.

Профессор помрачнел. Замолчал.

— Ваня звонил? — спросила Люда, не замечая, а может, не желая замечать, что свекор помрачнел.

— Он ушел на лекции.

Люда с Марьей Ивановной ушли на кухню.

— Странный ты человек, Сергей Федорыч, — заговорил профессор-гость. — Ну а что ты предлагаешь? Как предлагаешь им поступить?

— Это ты странный!.. Я предлагаю! Я уже давно ничего не предлагаю. Попробовал бы я предложить!..

— Ну, как же быть?

— На это мог бы ответить хозяин дома. Но таковых теперь в домах не бывает… Разве вот у них, — Сергей Федорыч кивнул в сторону Ивана и Нюры. — И то вряд ли.

— Частенько русские… домострой вспоминают. Странная тоска… В профессорском доме. Не находишь?

— Нет, не нахожу.

Профессор-гость уткнулся в тетрадку.

Гости — Иван и Нюра — не поняли, о чем шла

речь. Иван аккуратно доставал ложечкой красную икру из вазочки и ел прямо так — из ложечки же. И снова доставал.

— Вкусная штука, — похвалил он, когда почувствовал на себе взгляд хозяина.

— Ешь, ешь, — кивнул Сергей Федорыч. — Это память о домострое. Редкая штука.

ГУМ. Людская река растекается здесь на десятки проток. То закрутит у прилавка с носками, то увлечет в салон электроприборов… То вынесет на горбатый мостик, и тогда можно оглядеться, передохнуть, прийти в себя.

Ивану очень понравилось смотреть сверху, с мостика, на людей внизу… Но Нюра торопила. Куда торопила? Впрочем, она что-то покупала — что-то такое Иван держал уже в руках, какую-то коробку.

Нюра неутомимо перебирала, прикидывала на голову платки… Продавщицы ей делали замечания, Нюра не обращала на них внимания. Ее очень увлекло это занятие — перебирать товары. Она прямо преобразилась вся. И куда девалась ее деревенская робость, нерешительность!

Она тащила Ивана все дальше и дальше… Они вместе трогали плащи, мяли рукава их, растягивали… Вместе заглядывали в бирочки, где

указана цена… И шли дальше.

В одном месте толпа растащила их в разные стороны…

Иван забеспокоился… Стал кидаться туда-сюда, спрашивал людей, показывал руками, что потерял жену, крупная такая женщина, с веснушками.

Одни качали головой — не видели…

Другие улыбались…

А один сердобольный молодой человек стал, как видно, объяснять Ивану, что надо пойти на радиоузел, сказать фамилию, имя, отчество жены, и там объявят по радио, и жена придет к фонтану…

А профессор Сергей Федорыч в это время названивал по телефону в справочное Курского вокзала. Справочное все время было занято.

— Кошмар!.. — застонал профессор. — Целый час — все занято.

Профессор-гость, читая тетради хозяина, пояснил:

— Они кладут трубку на стол и читают детективные романы.

А Иван стоял у фонтана в ГУМе и ждал… жену. Волновался, как любовник.

— Нет, это черт знает что такое! — взревел профессор-хозяин. И бросил трубку. — Это же, простите, не работа!.. — Он встал и заходил по комнате. — Это не неумение работать, это не-же-ла-ние работать! Ну, как же: она десять лет училась, ей вдалбливали в голову, что удел человеческий — это беспосадочный перелет Москва — Владивосток…

— Старо! — сказал профессор-гость.

— Это первенство мира по прыжкам в высоту, а тут кто-то хочет узнать, когда идет поезд «Москва — Симферополь»! Фи! — Сергей Федорыч всерьез разволновался. — Ах ты, кудрявая, судьба обошла тебя, не повезло в жизни!.. Вот увидишь, сейчас, если дозвонюсь, рявкнет: «Москва — Симферополь» отходит в ноль целых…" И подумает: «Старый осел».

— А ты как-нибудь… молодым баритоном попробуй.

Профессор опять подсел к телефону. Опять было занято.

— Так!.. — Профессор тихо стал звереть. И неожиданно перешел от крика на тихий, зловеще-вкрадчивый голос: — А ведь никто не догадался объяснить ей, что простое человеческое дело — ответить, если спросили, — и есть

высокий долг…

— Видишь, у тебя получается — баритоном-то.

— Пошел к дьяволу!

— Чего ты психуешь-то? Ну, занято… Один ты звонишь, что ли?

В это время пришел Иван-сын.

— Вий пришел, — сказал отец. — Слушай, Вий, объясни мне, пожалуйста…

— В чем дело?

— Не могу дозвониться в справочное Курского вокзала. Все время занято…

— Когда нужны билеты?

— Ты хотя бы узнай…

— Когда нужны билеты? Их принесут сюда, на дом.

— На завтра.

Иван-сын подсел к телефону, набрал номер…

— Сергей? Сережа, нужно два билета… Хотя подожди… У них сквозной до Симферополя?

— Нет.

— На завтра. Два билета. До Симферополя. Спасибо. — Сын положил трубку. — Завтра утром сюда принесут два билета. От десяти до двенадцати.

Старики молчали. Долго молчали.

— Так жить можно, — не то шутя, не то серьез-

но сказал профессор-отец, — блат кругом. — И продолжал иным тонном: — Иван, я серьезно прошу, поговори с деревенским человеком. Это очень умный, хитрый и в то же время какой-то поразительно доверчивый человек. Ведь это сегодняшняя Россия.

— Ну уж! — воскликнул профессор-гость. — Вся, сразу — в одном Иване…

— О чем поговорить? О положении сельского учителя сегодня? Но я больше его знаю об этом…

— О-е-е!

— Знаю, например, что подавляющее большинство учителей в стране — женщины. Могу назвать цифры…

— Не надо. Ну и что, что женщины?

— Это нехорошо. То есть не то что вовсе нехорошо, но желательно, чтоб мужчин-педагогов было больше. Не нужно же тебе объяснять, что для ребенка-мальчишки, положим, сказанное учителем-мужчиной совсем не одно и то же, что скажет учительница. Мы это знаем.

— Ну и что вы собираетесь делать?

— Пишем диссертации, — не то в шутку, не то всерьез ответил сын.

— Лихие ребята!

— Дальше, мы знаем, что общекультурный

уровень тех же сельских учителей… Ну, как бы это… оставляет желать лучшего, что ли. И вовсе не потому, что они…

Зазвонил телефон.

Профессор поднял трубку, послушал и сказал:

— Его нет дома. Позвоните попозже… Итак, вовсе не потому, что они не хотят его повышать, а…

— Меня просили?

— Да. Переживут. А почему же?

— Первое: огромная, иногда нелепая перегруженность в школе. Учителей, я имею в виду. Любовь местных властей общественную работу на селе сваливать на тех же учителей. Они и агитаторы, и организаторы, и участники художественной самодеятельности, и депутаты сельских Советов — словом, актив.

— Не вижу ничего в этом плохого.

— Плохо то, что некогда книгу почитать, фильм посмотреть… Они падают от усталости.

— Третье?

— Третье: я бы увеличил им зарплату. Но из своего кармана, сам понимаешь, я это не могу сделать.

— И все-таки, что же делать? Ведь им доверено будущее страны — дети. Между прочим, никто

из них — я говорил со многими — не пожаловался. Очень добрые, приветливые люди… Даже веселые.

— Это труженики. И потом, что же, они тебе, московскому профессору, станут жаловаться? Ты бы стал жаловаться, когда был молодым?..

Профессор-отец ничего на это не сказал. Не ответил.

— Папа, мы не помешаем, если соберемся сегодня у нас?..

— Кто? Да нет… что же? Нет, конечно, не помешаете. Этот… волосатый — придет? — Профессор весь перекорежился, перекосился — изобразил, что играет на гитаре.

Иван-сын ушел к себе в комнату, никак не отреагировав на выходку отца.

— Ах, славно! — воскликнул профессор-гость. И хлопнул ладошкой по тетрадке. — Много ты добра привез, Серега! Славные есть штучки.

Профессор-хозяин посмотрел на него… Ничего не сказал. Помолчал, задумчиво глядя на телефон… И сказал вдруг:

— А кумекают… эти-то. — Кивнул в сторону, куда ушел сын.

— А? — откликнулся профессор-гость. — Эти-то? Кумекают.

— Кумекают. Славные, говоришь, есть штуки?

— Ах, славные! — Профессор-гость ласково погладил тетрадку.

В ту ночь профессору пришла в голову блистательная идея: устроить встречу студентов, какие остались на каникулах в Москве, аспирантов и преподавателей университета — всех, кто способен насладиться музыкой живой русской речи, — встречу с Иваном Расторгуевым. Собрать несколько человек — «любителей словесности».

В аудитории, где происходила бы встреча, во вступительном слове профессор сказал бы так:

— Уважаемые коллеги, друзья! Я пригласил вас на эту встречу вот с какой — единственной — целью: просто чтобы мы послушали одного из тех, кого мы называем языкотворцем, хранителем языка. Собираются же слушать музыку!.. И собираются, и внимательно слушают бесчисленных кликуш с гитарами… Я уже говорил и писал, почему эти… «ловцы губок» привлекают к себе внимание. Если привлекает подделка, значит, есть тоска по настоящему, неподдельному. Так было, так есть. Мы очень много знаем, мы строим невиданный Вавилон… Мы оглушили себя треском машин, воем сирен… Мы, в своем упоении цифрами, полупроводниками, схемами,

телевидением, мы, социологи, математики, нумизматики, мастера классической демагогии… мы уже давно не слышим, как говорит наш народ. Послушайте же!

Еще в машине, когда ехали московскими улицами в университет, профессор говорил Ивану:

— Рассказать?.. Ну, расскажи что-нибудь… О себе. Расскажи, как ты собираешься детей учить. Почему непременно надо учить. Расскажи, как ты обо всем этом думаешь, — получится про жизнь.

— Можно Нюра тоже выступит? — попросил Иван.

— Можно.

— Нет, я не буду, — воспротивилась Нюра. — Я не умею.

— Ну, посмотрим, как там будет… Только, Иван, дело-то в том, что это вовсе не значит — выступать. Надо рассказать, как умеешь… Понимаешь ли?

— Все будет в порядке, — заверил Иван.

А еще раньше, в тот же день, утром, у профессора — Сергея Федорыча и его коллеги — произошел серьезный разговор.

— Почему? — спросил Сергей Федорыч коллегу.

— Потому, — стал внятно, жестко, но не зло

пояснять лысый профессор, — что ты его не знаешь. Не понимаешь. Не чувствуешь, выражаясь дамским языком. И не суйся ты в это дело. И не срамись: и себя подведешь, и парня… поставишь в глупое положение. Не тот сегодня мужичок, Серега, не тот… И фамилия его — не Каратаев. Как ты еще не устал от своего идеализма? Даже удивительно.

— Жалко, Лев Николаич помер — послушал бы хоть. Тоже был идеалист безнадежный.

— В отношении мужичка — да, был идеалист.

— Ну, и как же его фамилия? Мужичка-то нынешнего? Полупроводник Шестеркин?

— Не знаю. Я, видишь ли, не специалист здесь, в отличие от… некоторых. Наверно, не Шестеркин, но и не Каратаев. И не Сивкин-Буркин. Не смеши, Серега, народ честной, не смеши.

— Посмотрим.

И вот вышел Иван на трибуну…

Профессор и Нюра сидели за столом. Лысый профессор — в зале.

— Уважаемые товарищи! — громко начал Иван. — Меня Сергей Федорыч попросил рассказать вам… как я думаю про жизнь. Я хорошо думаю, товарищи!

В зале засмеялись.

— Я родился в крестьянской семье… Нюра — тоже в крестьянской. Значит… воспитывались там же, то есть в крестьянской семье. Я окончил шесть классов, Нюра прихватила восьмилетку. За границей не были…

В зале опять засмеялись.

— Что он делает? — негромко спросил профессор Нюру.

Нюра, очень довольная, сказала:

— Выступает. А что?

— Я по профессии механизатор, тракторист. Норму…

— А Нюра? — спросили из зала.

Нюра привстала и сказала:

— Я доярка, товарищи. Свою норму тоже выполняю.

— Даже перевыполняет, — продолжал Иван.

— На сколько прОцентов?! — опять выкрикнул веселый молодой человек, очень волосатый и не злой.

— ПроцЕнтов, — поправил Иван. — Нюся, на сколько процентов, я забыл?

Нюра опять привстала.

— На тридцать-сорок.

— На тридцать-сорок, — сказал Иван. — Вот гляжу на вас, молодой человек, — тоже весело

и не зло продолжал Иван, глядя на гривастого парня, — и вспомнил из молодости один случай. Я его расскажу. Была у меня в молодости кобыла… Я на ней копны возил. И вот у этой кобылы, звали ее Селедка, у Селедки, стало быть, — Иван наладился на этакую дурашливо-сказочную манеру, малость даже стал подвывать, — была невиданной красоты грива. А бригадиром у нас был Гришка Коноплев, по прозвищу Дятел, потому что он ходил всегда с палочкой и все время этой палочкой себя по голенищу стукал, и вот этот самый Дятел приезжает раз в бригаду и говорит: «Ванька, веди сюда свою Селедку, мы ей гриву обкорнаем. Я видел в кино, как сделано у коня товарища маршала на параде». Привел я Селедку, и мы овечьими ножницами лишили ее гривы. Стало как у коня товарища маршала. Но что делает моя Селедка? Она отказывается надевать хомут. Брыкается, не дается… Хоть ты что с ней делай. Уж сам Дятел пробовал надевать — ни в какую! Кусается и задом норовит накинуть… Что делать? А был у нас в деревне дед Кузя, колдун. Мы — к нему. Он нам и говорит: «Отпустите ее на волю на недельку… Пусть она одна побудет, привыкнет без гривы-то. На кой, — говорит, — черт вы ей гриву-то отхватили, оглоеды?» Вот, товарищи,

какой случай был. Теперь насчет…

— Почему кобылу звали Селедкой? — спросили из зала весело. Опять гривастый спросил.

— Почему Селедкой-то? А — худая. Худая, как селедка. Там только одна грива и была-то.

Засмеялись.

И профессор тоже невольно засмеялся. И покачал головой.

Нюра наклонилась к нему, спросила:

— Ну, как — ничего?

— Ничего, — сказал профессор. — Хитер мужик твой Иван. Хорошо выступает.

Нюра была польщена.

— Он умеет, когда надо…

— Иван, — спросил профессор Сергей Федорыч, когда ехали в машине из университета оба профессора, Иван и Нюра, — скажи, пожалуйста, зачем ты про кобылу-то рассказывал? Про Селедку-то…

Лысый профессор громко засмеялся.

Иван улыбнулся…

— Да повеселить маленько людей. Меня еще дед мой учил: как где трудно придется, Ванька, прикидывайся дурачком. С дурачка спрос невелик.

— А тебе что, трудно пришлось?

— Да не то чтоб уж трудно… Я же не знал, что

они улыбаться начнут. А что, плохая история? С кобылой-то.

— Славная история, Иван! — воскликнул лысый профессор. — Славная. Жалко — про Вавилон еще не поговорили.

— Про какой Вавилон? — спросил Иван.

— Про город. Есть, видишь ли, люди, которым очень не нравится город…

— Не город, — поправил профессор Сергей Федорыч, — а Вавилон. Надо быть точным, даже если… передергиваешь карты.

— Вавилон, — согласился лысый профессор. И перевел Ивану: — Вавилон — это большой-большой город. И вот есть люди…

— Большой-большой недостроенный город, — опять уточнил Сергей Федорыч.

— Да. Так вот, есть люди, которые прекрасно устроились в этом Вавилоне, с удобствами, так сказать, но продолжают всячески поносить…

— Нет, — резко сказал Сергей Федорыч, — это… Так нельзя. Это шулерство. Ты хочешь спросить Ивана: нравится ли ему город?

— Не совсем так…

— А как?

— А мне так нравится! — воскликнула Нюра.

— Мне тоже нравится, — сказал Иван. — Зря вы

спорите, товарищи. Жить можно. Чего вы?

Профессора засмеялись.

Из Москвы Иван двинул домой второе письмо.

"Уважаемые родные, друзья!

Пишу вам из Москвы. Нас здесь захватил водоворот событий. Да, это Вавилон! Я бы даже сказал, это больше. Мы живем у профессора. Один раз у них вечером собиралась молодежь. И был там один клоун. Это невозможно описать, как он выдрючивался. С Нюрой чуть плохо не стало от смеха. Кое-что я, может, потом скажу. Выступал также в университете. Меня попросил профессор рассказать что-нибудь из деревенской жизни в применении к городской. Я выступал. Кажись, не подкачал. Нюра говорит, хорошо. Вообще, время проводим весело. Были в ГУМе, в ЦУМе — не удивляйтесь: здесь так называют магазины. В крематорий я, правда, не сходил, говорят, далеко и нечего делать. Были с профессором на выставке, где показывали различные иконы. Нашу бы бабку Матрену туда, у ей бы разрыв сердца произошел от праздника красок. Есть и правда хорошие, но мне не нравится эта история, какая творится вокруг них. Это уже не спрос на искусство, а мещанский крик моды. Обидно. Видел я также несколько волосатиков. Один даже пел у

профессора песню. Вообще-то ничего, но… профессора коробит. Меня тоже.

Сегодня в 22.30 отбываем на юг.

Иван".

И вот — юг.

Иван объяснился для начала с директором санатория. В его, директорском, кабинете.

— Как — с вами? — не понимал директор. — У вас же только одна путевка.

— Больше колхоз не дал… Не было.

— Так зачем же было ее везти с собой?

— А что же?.. Я один буду по санаториям прохлаждаться, а она дома сидеть? Несправедливо. Ей же тоже охота хоть раз в жизни на море побывать.

— Вы что, серьезно? — не понимал директор, крупный, толстый, в дорогом светлом костюме. — Вы не разыгрываете меня?

— Кто — я? Бог с вами!

— А где ваша жена?

— А вон! — Иван показал на окно. — Вон она сидит.

Директор подошел, посмотрел вниз.

Во дворе санатория, у фонтана с каменными лебедями, сидела Нюра.

Директор прошелся по кабинету.

— Вы сделали большую глупость.

— Почему?

— Ее придется отправлять назад…

— Почему? — Иван с этими своими «почему» способен был вызвать раздражение. И он вызвал раздражение.

— Да потому! Почему… Потому, что так никто не поступает: взять одну путевку и везти с собой еще жену.

— Но ей же тоже охота…

— Что вы дурачка-то из себя строите? Чего дурачка-то строите?

— Почему?

— А где она жить будет?

— Со мной.

— Да как — с вами-то? Как?

— Но мне же положена одна комната…

— Так…

— Поставим раскладушку…

Директор в изумлении хлопнул себя по ляжкам.

— Феноменально! А тещу вы не могли прихватить с собой?

— Не трогайте мою тещу! — обиделся Иван. Обиделся и осердился: — Такую тещу, как у меня, — поискать! И нечего ее трогать.

— Идите устраивайтесь, — тоже осердился директор. — Ни о каких раскладушках, конечно, не может быть речи.

Иван растерялся… Долго молчал.

— А куда же она?

— Куда хотите. Вы что, думали, здесь Дом колхозника, что ли?

Ивану пришла в голову какая-то, как видно, толковая мысль.

— Счас, одну минуточку, — сказал он. — Я к жене схожу… — И вышел.

— Ну? — спросила Нюра.

— Уперся… Слушать не хочет.

— Да ты попроси хорошенько! Скажи, мол, издалека приехали…

— Просил всяко! Не могу, говорит. Это… чего я подумал: может, сунуть ему? Рублей двадцать…

— Ну-ка да не возьмет?

— Да возьмет, поди, куда он денется? Или мало — двадцать?

— Да хватит!

— Может, четвертак? Ведь месяц почти жить…

— Ну, дай, черт с им! Только уж пусть он получше комнату-то подберет. Побольше.

— Ну, сделает, наверно!..

— Хорошо бы, если б из окошка-то вот этот бы

фонтан видно было. Прямо глаз не оторвать — до того глянется. Хорошо-то как здесь. Господи! Рай.

— Вот черт, понимаешь… — стал мучиться Иван.

— Чего ты?

— Не умею я давать-то… Не приходилось.

— Сунь ему в руку…

— Сунь! Тут кто кому сунет: я ему или он мне… как сунешь…

— Ну, парень!.. Как же теперь? Надо как-то выходить из положения.

— Пойдем вместе? — сказал Иван.

— А я-то чего там?

— Ну, я, может, похрабрей буду.

— Да хуже только: так — с глазу на глаз, а так — свидетель. Иди, не бойся. Ну, не возьмет — не возьмет: в лоб не ударит.

— Да если б ударил-то — это бы полбеды, а то потянет за взятку-то. Отдохнешь… в другом месте, елки зеленые. Будешь там заместо отдыха… печки-лавочки делать.

— Как же быть-то?

— Погоди, счас, может, насмелюсь… Черт, никогда с этим не приходилось! Шофера, те привычные… Ладно, пошел.

В кабинете директора, когда туда опять вошел

Иван, сидела некая милая женщина, по виду врач.

— Подождите минутку, — сказал директор Ивану.

Иван понял так, что надо подождать здесь, в кабинете. И присел на стул.

Женщина-врач посмотрела на Ивана… И решила, что при нем можно рассказывать свое.

— Я говорю, но послушайте, укол всегда болезнен. Нет, говорит, присылайте другую сестру. Иначе буду жаловаться. Представляете? Что в таком случае…

— Минутку, — сказал директор. И повернулся к Ивану. — В чем дело? Что у вас еще? Я же вам сказал: идите устраивайтесь.

— Вы беседуйте, беседуйте, — вежливо молвил Иван. — Я подожду.

— Нина Георгиевна, зайдите, пожалуйста, через… десять минут. Мы вот с товарищем тут…

— Хорошо.

Женщина вышла.

Директор изготовился, видно, говорить строго.

— Слушаю.

Иван подошел к столу, посмотрел на директора — в глаза ему в самые — и выложил на стол ассигнацию в 25 рублей.

— Сойдемся?

Директор… молчал.

— Что? — спросил Иван. — У меня больше нету: осталось здесь пожить и на обратную дорогу.

Директор посмотрел на бумажку… Потрогал ее.

— Я бы больше дал, нету, — еще сказал Иван.

— Ладно, — решил вдруг директор. Встал. — Устрою твою жену. А деньги возьми.

— Да без этих-то я обойдусь!.. — запротестовал Иван. — Бери!

Директор засмеялся.

— Что? — спросил Иван.

— Возьми деньги, — велел директор. — Откуда приехали-то?

— С Алтая. — Иван вышел на балкон и крикнул Нюре: — Заходи!

Нюра подошла ближе к балкону и спросила негромко, но так, чтоб Иван — на втором этаже — слышал:

— Взял?

— Потом. Счас я иду к тебе.

В бассейне, где били вверх струйки воды, плавали каменные лебеди.

И вот вышли они к морю!..

— А народу-то! — заорал Иван.

— Не ори, — сказала Нюра. И засмеялась.

Они подошли к воде… Иван скоренько разделся до трусов. Нюра пока не стала, присела пока так, на камушки.

— Море, море!.. — сказал Иван вдохновенно, оглядел, зачарованный, даль морскую, залитую солнцем… Подкрался к шаловливой волнишке, сунул в нее ногу и вскрикнул: — А холодная-то!

— Холодная? — испугалась Нюра.

Иван засмеялся.

— Я шучу. Молоко парное!.. Раздевайся.

И третье письмо написал Иван — с моря. Оно начиналось словами:

"Здравствуйте, дорогие мои!

Стою на берегу моря! Если смотреть прямо — будет Турция. Справа и слева от меня — голые счастливые люди. Да и сам я — в одних трусиках щеголяю. А Нюра смеется, дурочка…"

***

2001 Электронная библиотека Алексея Снежинского

Калина красная

История эта началась в исправительно-трудовом лагере, севернее города Н., в местах прекрасных и строгих.

Был вечер после трудового дня.

Люди собрались в клубе…

На сцену вышел широкоплечий мужчина с обветренным лицом и объявил:

— А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам задумчивую песню «Вечерний звон»!

На сцену из-за кулисы стали выходить участники хора — один за одним. Они стали так, что образовали две группы — большую и малую. Хористы все были далеко не «певучего» облика.

— В группе «бом-бом», — возвестил дальше широкоплечий и показал на большую группу, — участвуют те, у кого завтра оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним.

Хор запел. То есть завели в малой группе, а в большой нагнули головы и в нужный момент ударили с чувством:

— Бом-м, бом-м…

В группе «бом-бом» мы видим и нашего героя — Егора Прокудина, сорокалетнего, стриженого. Он старался всерьез и, когда «звонили», морщил лоб и качал круглой крестьянской головой — чтобы похоже было, что звук колокола плывет и качается в вечернем воздухе.

Так закончился последний срок Егора Прокудина. Впереди — воля.

Утром в кабинете у одного из начальников произошел следующий разговор:

— Ну, расскажи, как думаешь жить, Прокудин? — спросил начальник. Он, видимо, много-много раз спрашивал это — больно уж слова его вышли какие-то готовые.

— Честно! — поторопился с ответом Егор, тоже, надо полагать, готовым, потому что ответ выскочил поразительно легко.

— Да это-то я понимаю… А как? Как ты это себе представляешь?

— Думаю заняться сельским хозяйством, гражданин начальник.

— Товарищ.

— А? — не понял Егор.

— Теперь для тебя все — товарищи, — напомнил начальник.

— А-а! — с удовольствием вспомнил Прокудин.

И даже посмеялся своей забывчивости. — Да-да… Много будет товарищей!

— А что это тебя в сельское хозяйство-то потянуло? — искренне поинтересовался начальник.

— Так я же ведь крестьянин! Родом-то. Вообще люблю природу. Куплю корову…

— Корову? — удивился начальник.

— Корову. Вот с таким вымем. — Егор показал руками.

— Корову надо не по вымю выбирать. Если она еще молодая, какое же у нее «вот такое» вымя? А ты выберешь старую, у нее действительно вот такое вымя… Толку-то что? Корова должна быть… стройная.

— Так это что же тогда — по ногам? — сугодничал Егор вопросом.

— Что?

— Выбирать-то. По ногам, что ли?

— Да почему по ногам? По породе. Существуют породы — такая-то порода… Например, холмогорская… — Больше начальник не знал.

— Обожаю коров, — еще раз с силой сказал Егор. — Приведу ее в стойло… поставлю…

Начальник и Егор помолчали, глядя друг на друга.

— Корова — это хорошо, — согласился на-

чальник. — Только… что ж, ты одной коровой и будешь заниматься? У тебя профессия-то есть какая-нибудь?

— У меня много профессий.

— Например?

Егор подумал, как если бы выбирал из множества своих профессий наименее… как бы это сказать — меньше всего пригодную для воровских целей.

— Слесарь…

Зазвонил телефон. Начальник взял трубку.

— Да. Да. А какой урок-то был? Тема-то какая? «Евгений Онегин»? Так, а насчет кого они вопросы-то стали задавать? Татьяны? А что им там непонятно в Татьяне? Что, говорю, им там… — Начальник некоторое время слушал тонкий крикливый голос в трубке, укоризненно смотрел при этом на Егора и чуть кивал головой: мол, все ясно. — Пусть… Слушай сюда: пусть они там демагогией не занимаются! Что значит — будут дети, не будут дети?! Про это, что ли, поэма написана! А то я им приду объясню! Ты им… Ладно, счас Николаев придет к вам. — Начальник положил трубку и взял другую. Пока набирал номер, недовольно проговорил: — Доценты мне… Николаев? Там у учительницы литературы урок сорвали: начали

вопросы задавать. А? «Евгений Онегин». Да не насчет Онегина, а насчет Татьяны: будут у нее дети от старика или не будут? Иди разберись. Давай. Во, доценты, понимаешь! — сказал начальник, кладя трубку. — Вопросы начали задавать.

Егор посмеялся, представив этот урок литературы.

— Хотят знать…

— У тебя жена-то есть? — спросил начальник строго.

Егор вынул из нагрудного кармана фотографию и подал начальнику. Тот взял, посмотрел.

— Это твоя жена? — спросил он, не скрывая удивления.

На фотографии была довольно красивая молодая женщина, добрая и ясная.

— Будущая, — сказал Егор. Ему не понравилось, что начальник удивился. — Ждет меня. Но живую я ее ни разу не видел.

— Как это?

— Заочница. — Егор потянулся, взял фотографию. — Позвольте. — И сам засмотрелся на милое русское простое лицо. — Байкалова Любовь Федоровна. Какая доверчивость на лице, а! Это удивительно, правда? На кассира похожа.

— И что она пишет?

— Пишет, что беду мою всю понимает… Но, говорит, не понимаю, как ты додумался в тюрьму угодить? Хорошие письма. Покой от них… Муж был пьянчуга — выгнала. А на людей все равно не обозлилась.

— А ты понимаешь, на что идешь? — негромко и серьезно спросил начальник.

— Понимаю, — тоже негромко сказал Егор и спрятал фотографию.

— Во-первых, оденься как следует. Куда ты такой… Ванька с Пресни заявишься. — Начальник недовольно оглядел Егора. — Что это за… почему так одет-то?

Егор был в сапогах, в рубахе-косоворотке, в фуфайке и каком-то форменном картузе — не то сельский шофер, не то слесарь-сантехник, с легким намеком на участие в художественной самодеятельности.

Егор мельком оглядел себя, усмехнулся.

— Так надо было по роли. А потом уже не успел переодеться.

— Артисты… — только и сказал начальник и засмеялся. Он был не злой человек, и его так и не перестали изумлять люди, изобретательность которых не знает пределов.

И вот она — воля!

Это значит — захлопнулась за Егором дверь, и он очутился на улице небольшого поселка. Он вздохнул всей грудью весеннего воздуха, зажмурился и покрутил головой. Прошел немного и прислонился к забору. Мимо шла какая-то старушка с сумочкой, остановилась.

— Вам плохо?

— Мне хорошо, мать, — сказал Егор. — Хорошо, что я весной сел. Надо всегда весной садиться.

— Куда садиться? — не поняла старушка.

— В тюрьму.

Старушка только теперь сообразила, с кем говорит. Опасливо отстранилась и посеменила дальше. Посмотрела еще на забор, мимо которого шла. Опять оглянулась на Егора.

А Егор поднял руку навстречу «Волге». «Волга» остановилась. Егор стал договариваться с шофером. Шофер сперва не соглашался везти, Егор достал из кармана пачку денег, показал… и пошел садиться рядом с шофером.

В это время к ним подошла старушка, которая проявила участие к Егору, — не поленилась перейти улицу.

— Я прошу извинить меня, — заговорила она, склоняясь к Егору. — А почему именно весной?

— Садиться-то? Так весной сядешь — весной

и выйдешь. Воля и весна! Чего еще человеку надо? — Егор улыбнулся старушке и продекламировал: — Май мой синий! Июнь голубой!

— Вон как!.. — Старушка изумилась. Выпрямилась и глядела на Егора, как глядят в городе на коня — туда же, по улице идет, где машины. У старушки было румяное морщинистое личико и ясные глаза. Она, сама того не ведая, доставила Егору приятнейшую, дорогую минуту.

«Волга» поехала.

Старушка некоторое время смотрела вслед ей.

— Скажите… Поэт нашелся. Фет.

А Егор весь отдался движению. Кончился поселок, выскочили на простор.

— Нет ли у тебя какой музыки? — спросил Егор.

Шофер, молодой парень, достал одной рукой из-за спины транзисторный магнитофон.

— Включи. Крайняя клавиша…

Егор включил какую-то славную музыку. Откинулся головой на сиденье, закрыл глаза. Долго он ждал такого часа. Заждался.

— Рад? — спросил шофер.

— Рад? — очнулся Егор. — Рад… — Он точно на вкус попробовал это словцо. — Видишь ли, малыш, если бы я жил три жизни, я бы одну про-

сидел в тюрьме, другую — отдал тебе, а третью — прожил бы сам, как хочу. Но так как она у меня всего одна, то сейчас я, конечно, рад. А ты умеешь радоваться? — Егор от полноты чувства мог иногда взбежать повыше — где обитают слова красивые и пустые. — Умеешь, нет?

Шофер пожал плечами, ничего не ответил.

— Э-э, тухлое твое дело, сынок, — не умеешь.

— А чего радоваться-то?

Егор вдруг стал серьезным. Задумался. С ним это бывало — вдруг ни с того ни с сего задумается.

— А? — спросил Егор из каких-то своих мыслей.

— Чего, говорю, шибко радоваться-то? — Шофер был парень трезвый и занудливый.

— Ну, это я, брат, не знаю — чего радоваться, — заговорил Егор, с неохотой возвращаясь из своего далекого далека. — Умеешь — радуйся, не умеешь — сиди так. Тут не спрашивают. Стихи, например, любишь?

Парень опять неопределенно пожал плечами.

— Вот видишь, — с сожалением сказал Егор, — а ты радоваться собрался.

— Я и не собирался радоваться.

— Стихи надо любить, — решительно закруглил Егор этот вялый разговор. — Слушай, какие

стихи бывают. — И Егор начал читать — с пропуском, правда, потому что подзабыл.

…в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть.
Здравствуй, ты, моя черная гибель,
Я навстречу тебе выхожу!

Город, город! Ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.
Стынет поле в тоске…

какой-то… Тут подзабыл малость.

Телеграфными столбами давясь…
Тут опять забыл. Дальше:
Пусть для сердца тягуче колко,

Это песня звериных прав!..
…Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.

Зверь припал… и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки…
Вдруг прыжок… и двуногого недруга
Раздирают на части клыки.

О, привет тебе, зверь мой любимый!

Ты недаром даешься ножу.
Как и ты — я, отвсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.

Как и ты — я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.

И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зароюсь в снегу…
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.

Егор, сам оглушенный силой слов, некоторое время сидел, стиснув зубы, глядел вперед. И была в его взгляде, сосредоточенном, устремленном вдаль, решимость, точно и сам он бросил прямой вызов кому-то и не страшился ни тогда, ни теперь.

— Как стихи? — спросил Егор.

— Хорошие стихи.

— Хорошие. Как стакан спирту дернул, — сказал Егор. — А ты: не люблю стихи. Молодой еще, надо всем интересоваться. Останови-ка… я своих подружек встретил.

Шофер не понял, каких он подружек встретил, но остановился.

Егор вышел из машины… Вокруг был сплошной березовый лес. И такой это был чистый белый мир на черной еще земле, такое свечение!.. Егор прислонился к березке, огляделся кругом.

— Ну, ты глянь, что делается! — сказал он с тихим восторгом. Повернулся к березке, погладил ее ладонью. — Здорово! Ишь ты какая… Невеста какая. Жениха ждешь? Скоро уж, скоро. — Егор быстро вернулся к машине. Все теперь было понятно. Нужен выход какой-нибудь. И скорее. Немедленно.

— Жми, малыш, на весь костыль. А то у меня сердце сейчас из груди выпрыгнет: надо что-то сделать. Ты спиртного с собой не возишь?

— Откуда!

— Ну, тогда рули. Сколько стоит твой музыкальный ящичек?

— Двести.

— Беру за триста. Он мне понравился.

В областном городе, на окраине, Егор велел остановиться, не доезжая того дома, где должны быть свои люди. Щедро расплатился с шофером, взял музыкальный ящичек и дворами, сложно, пошел «на хату».

«Малина» была в сборе.

Сидела приятная молодая женщина с гитарой. Сидел около телефона некий здоровый лоб, похожий на бульдога, упорно смотрел на телефон. Сидели четыре девицы с голыми ногами… Ходил по комнате рослый молодой парень, поглядывал на телефон… Сидел в кресле Губошлеп с темными зубами, потягивал из фужера шампанское… Еще человек пять-шесть молодых парней сидели кто где — курили или просто так.

Комната была драная, гадкая. Синенькие какие-то обои, захватанные и тоже дранью, совсем уж некстати напоминали цветом своим весеннее небо, и от этого вовсе нехорошо было в этом вонючем сокрытом мирке, тяжко. Про такие обиталища говорят, обижая зверей, — логово.

Все сидели в каком-то странном оцепенении. Время от времени поглядывали на телефон. Напряжение чувствовалось во всем. Только скуластенькая молодая женщина чуть перебирала струны и негромко, красиво пела, хрипловато, но очень душевно:

Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залеточки

Характер вызнала.

Характер вызнала,
Характер — ой какой,
Я не уважила,
А он пошел к другой…
А я…

Во входную дверь негромко постучали условным стуком. Все сидящие дернулись, как от вскрика.

— Цыть! — сказал Губошлеп. И весело посмотрел на всех. — Нервы, — еще сказал Губошлеп. И взглядом послал одного открыть дверь.

Пошел рослый парень.

— Цепочка, — сказал Губошлеп. И сунул руку в карман. И ждал.

Рослый парень, не скидывая дверной цепочки, приоткрыл дверь… И поспешно скинул цепочку, оглянулся на всех…

Дверь закрылась.

И вдруг за дверью грянул марш. Егор пинком открыл ее и вошел под марш. На него зашикали и повскакали с мест.

Егор выключил магнитофон, удивленно огляделся.

К нему подходили, здоровались… Но старались не шуметь.

— Привет, Горе. (Такова была кличка Егора — Горе.)

— Здорово.

— Отпыхтел?

Егор подавал руку, но все не мог понять, что здесь такое. Много было знакомых, а были не просто знакомые — была тут Люсьен (скуластенькая), был, наконец, Губошлеп — их Егор рад был видеть. Но что они?

— А чего вы такие все?

— Ларек наши берут, — пояснил один, здороваясь. — Должны звонить… Ждем.

Очень обрадовалась Егору скуластенькая женщина. Она повисла у него на шее… И всего исцеловала. Глаза ее, чуть влажные, прямо сияли от неподдельной радости.

— Горе ты мое!.. Я тебя сегодня во сне видела…

— Ну-ну, — говорил счастливый Егор. — И что я во сне делал?

— Обнимал меня. Крепко-крепко.

— А ты ни с кем меня не спутала?

— Горе!..

— А ну, повернись-ка, сынку! — сказал Губошлеп. — Экий ты какой стал!

Егор подошел к Губошлепу, они сдержанно обнялись. Губошлеп так и не встал. Весело смотрел на Егора.

— Я вспоминаю один весенний вечер… — заговорил Губошлеп. И все стихли. — В воздухе было немножко сыро, на вокзале — сотни людей. От чемоданов рябит в глазах. Все люди взволнованы — все хотят уехать. И среди этих взволнованных, нервных сидел один… Сидел он на своем деревенском сундуке и думал горькую думу. К нему подошел некий изящный молодой человек и спросил: «Что пригорюнился, добрый молодец?» — «Да вот… горе у меня! Один на земле остался, не знаю, куда деваться». Тогда молодой человек…

Зазвонил телефон. Всех опять как током дернуло.

— Да? — вроде как безразлично спросил парень, похожий на бульдога. И долго слушал. И кивал. — Все сидим здесь. Я не отхожу от телефона. Все здесь, Горе пришел… Да. Только что. Ждем. Ждем. — Похожий на бульдога положил трубку и повернулся ко всем. — Начали.

Все пришли в нервное движение.

— Шампанзе! — велел Губошлеп.

Бутылки с шампанским пошли по рукам.

— Что за ларек? — спросил Егор Губошлепа.

— Кусков на восемь, — сказал тот. — Твое здоровье!

Выпили.

— Люсьен… Что-нибудь… снять напряжение, — попросил Губошлеп. Он был худой, спокойный и чрезвычайно наглый, глаза очень наглые.

— Я буду петь про любовь, — сказала приятная Люсьен. И тряхнула крашеной головой, и с маху положила ладонь на струны. И все стихли.

Тары-бары-растабары,
Чары-чары…
Очи-ночь.
Кто не весел,
Кто в печали —
Уходите прочь!
Во лугах, под покровом ночи,
Счастье даром раздают!
Очи, очи…
Сердце хочет:
Поманите — я пойду!
Тары-бары-растабары…

Опять зазвонил телефон. Вмиг повисла гробовая тишина.

— Да? — изо всех сил спокойно сказал Бульдог в трубку. — Нет, вы ошиблись номером. Ничего, пожалуйста. Бывает, бывает. — Бульдог положил трубку. — В прачечную звонит, сука.

Все пришли в движение.

— Шампанзе! — опять велел Губошлеп. — Горе, от кого поклоны принес?

— Потом, — сказал Егор. — Дай я сперва нагляжусь на вас. Вот, вишь, тут молодые люди незнакомые… Ну-ка, я познакомлюсь.

Молодые люди по второму разу, с почтением подавали руки. Егор внимательно, с усмешкой заглядывал им в глаза. И кивал головой, и говорил: «Так, так».

— Хочу плясать! — заявила Люсьен. И трахнула фужер об пол.

— Ша, Люсьен, — сказал Губошлеп. — Не заводись.

— Иди ты к дьяволу! — сказала подпившая Люсьен. — Горе, наш коронный номер!

И Егор тоже с силой бросил свой фужер. И у него тоже заблестели глаза.

— Ну-ка, молодые люди, дайте круг. Брысь!

— Ша, Горе! — повысил голос Губошлеп. — Выбрали время!

— Да мы же услышим звонок! — заговорили со

всех сторон Губошлепу. — Пусть сбацают.

— Чего ты? Пусть выйдут!

— Бульдя же сидит на телефоне.

Губошлеп вынул платочек и хоть запоздало, но важно, как Пугачев, махнул им.

Две гитары дернули «Барыню».

Пошла Люсьен… Ах, как она плясала! Она умела. Не размашисто, нет, а четко, легко, с большим тактом. Вроде вколачивала каблучками в гроб свою калеку-жизнь, а сама, как птица, била крыльями — чтоб отлететь. Много она вкладывала в пляску. Она даже красивой вдруг сделалась, родной и милой…

Егор, когда Люсьен подступала к нему, начинал тоже и работал только ногами. Руки заложены за спину, ничего вроде особенного, не прыгал козлом — а тоже хорошо. Хорошо у них выходило. Таилось что-то за этой пляской — неизжитое, незабытое.

— Вот какой минуты ждала моя многострадальная душа, — сказал Егор вполне серьезно. Такой, верно, ждалась ему желанная воля.

— Подожди, Егорушка, я еще не так успокою твою душу, — откликнулась Люсьен. — Ах как я ее успокою! И сама успокоюсь.

— Успокой, Люсьен. А то она плачет.

— Успокою. Я прижму ее к сердцу, голубку, скажу ей: «Устала? Милая… милая… добрая… Устала».

— Смотри, не клюнула бы эта голубка, — встрял в этот деланный разговор Губошлеп. — А то клюнет.

— Нет, она не злая, — серьезно сказал Егор, не глядя на Губошлепа. И жесткость легла тенью на его доброе лицо. Но плясать они не перестали, они плясали. На них хотелось без конца смотреть, и молодые люди смотрели, с какой-то тревогой смотрели, жадно, как будто заколачивалась в гроб некая отвратительная часть и их жизни тоже — можно потом выйти на белый свет, а там — весна.

— Она устала в клетке, — сказала Люсьен нежно.

— Она плачет, — сказал Егор. — Нужен праздник.

— По темечку ее… Прутиком, — сказал Губошлеп. — Она успокоится.

— Какие люди, Егорушка! А? — воскликнула Люсьен. — Какие злые!

— Ну, на злых, Люсьен, мы сами — волки. Но душа-то, душа-то… Плачет.

— Успокоим, Егорушка, успокоим. Я же волшеб-

ница, я все чары свои пущу в ход…

— Из голубей похлебка хорошая, — сказал ехидный Губошлеп. Весь он, худой как нож, собранный, страшный своей молодой ненужностью, весь он ушел в свои глаза. Глаза горели злобой.

— Нет, она плачет! — остервенело сказал Егор. — Плачет! Тесно ей там — плачет! — Он рванул рубаху… И стал против Губошлепа. Гитары смолкли. И смолк перепляс волшебницы Люсьен.

Губошлеп держал уже руку в кармане.

— Опять ты за старое, Горе? — спросил он, удовлетворенный.

— Я тебе, наверно, последний раз говорю, — спокойно тоже и устало сказал Егор, застегивая рубаху. — Не тронь меня за болячку… Когда-нибудь ты не успеешь сунуть руку в карман. Я тебе сказал.

— Я слышал.

— Эх-х!.. — огорчилась Люсьен. — Скука… Опять покойники, кровь… Бр-р… Налей-ка мне шампанского, дружок.

Зазвонил телефон. Про него как-то забыли все.

Бульдог кинулся к аппарату, схватил трубку… Поднес к уху, и она обожгла его. Он бросил ее на

рычажки.

Первым вскочил с места Губошлеп. Он был стремительный человек. Но все же он был спокоен.

— Сгорели, — коротко и ужасно сказал Бульдог.

— По одному — кто куда, — скомандовал Губошлеп. — Веером. На две недели все умерли. Время!

Стали исчезать по одному. Исчезать они, как видно, умели. Никто ничего не спрашивал.

— Ни одной пары! — еще сказал Губошлеп. — Сбор у Иванова. Не раньше десяти дней.

Егор сел к столу, налил фужер шампанского, выпил.

— Ты что, Горе? — спросил Губошлеп.

— Я?.. — Егор помедлил в задумчивости. — Я, кажется, действительно займусь сельским хозяйством.

Люсьен и Губошлеп стояли над ним в недоумении.

— Каким сельским хозяйством?

— Уходить надо, чего ты сел?! — встряхнула его Люсьен.

Егор очнулся. Встал.

— Уходить? Опять уходить… Когда же я буду приходить, граждане? А где мой славный

ящичек?.. А, вот он. Обязательно надо уходить? Может…

— Что ты! Через десять минут здесь будут. Наверно, выследили.

Люсьен пошла к выходу.

Егор двинулся было за ней, но Губошлеп мягко остановил его за плечо. И мягко сказал:

— Не надо. Погорим. Мы скоро все увидимся…

— А ты с ней пойдешь? — прямо спросил Егор.

— Нет, — твердо и, похоже, честно сказал Губошлеп. — Иди! — резко крикнул он Люсьен, которая задержалась в дверях.

Люсьен недобро глянула на Губошлепа и вышла.

— Отдохни где-нибудь, — сказал Губошлеп, наливая в два фужера. — Отдохни, дружок, — хоть к Кольке Королю, хоть к Ваньке Самыкину, у него уголок хороший. А меня прости за… сегодняшнее. Но… Горе ты мое, Горе, ты же мне тоже на болячку жмешь, только не замечаешь. Давай. Со встречей. И — до свиданья пока. Не горюй. Гроши есть?

— Есть. Мне там собрали…

— А то могу подкинуть.

— Давай, — передумал Егор.

Губошлеп вытащил из кармана и дал сколько-то Егору. Пачку.

— Где будешь?

— Не знаю. Найду кого-нибудь. Как же вы так — завалились-то?..

В это время в комнату скользнул один из молодых, белый от испуга.

— Квартал окружили, — сказал он.

— А ты что?

— Я не знаю куда… Я вам сказать.

— Сам прет на рога, — засмеялся Губошлеп. — Чего ж ты опять сюда-то? Ах, милый ты мой, теленочек мой… За мной, братики!

Они вышли каким-то черным ходом и направились было вдоль стены в сторону улицы, но оттуда, с той стороны, послышались крепкие шаги патруля. Они — в другую сторону, но и оттуда раздались тоже шаги…

— Так, — сказал Губошлеп, не утрачивая своей загадочной веселости. — Что-то паленым пахнет. А, Егор? Чуешь?

— Ну-ка, сюда! — Егор втолкнул своих спутников в какую-то нишу.

Шага с обеих сторон приближались…

И в одном месте, справа, по стене прыгнул лучик сильного карманного фонаря.

Губошлеп вынул из кармана наган…

— Брось, дура! — резко и зло сказал Егор. —

Психопат. Может, те не расколются… А ты тут стрельбу откроешь.

— Та знаю я их! — нервно воскликнул Губошлеп. Вот сейчас, вот тут он, пожалуй, утратил свое спокойствие.

— Вот я сейчас рвану — уведу их. У меня справка об освобождении, — заговорил Егор быстро, выискивая глазами — в какую сторону рвануть. — Справка помечена сегодняшним числом… Я прикрытый. Догонят — скажу: испугался. Скажу: бабенку искал, услышал свистки — испугался сдуру… Все. Не поминайте лихом!

И Егор ринулся от них… И побежал напропалую. Тотчас со всех сторон раздались свистки и топот ног.

Егор бежал с каким-то азартом, молодо… Бежал, да еще и приговаривал себе, подпевал. Увидел просвет, кинулся туда, полез через какие-то трубы и победно спел:

— Оп, тирдарпупия! Ничего я не видал, ох, никого не знаю!..

Он уже перебрался через трубы… Сзади в темноте, совсем близко, бежали. Егор юркнул в широкую трубу и замер.

Над ним загрохотали железные шаги…

Егор сидел, скрючившись, и довольно улыбал-

ся. И шептал:

— Д-ничего я не видал, д-никого не знаю.

Он затеял какую-то опасную игру. Когда гул железный прекратился и можно было пересидеть тут и вовсе, он вдруг опять снялся с места и опять побежал.

За ним опять устремились.

— Эх, ничего я не видал, ох, никого не знаю! Д-никого не знаю! — подбадривал себя Егор. Маханул через какую-то высокую изгородь, побежал по кустам — похоже, попал в какой-то сад. Близко взлаяла собака. Егор кинулся вбок… Опять изгородь, он перепрыгнул и очутился на кладбище.

— Привет! — сказал Егор. И пошел тихо.

А шум погони устремился дальше — в сторону.

— Ну надо же, сбежал! — изумился Егор. — Всегда бы так, елки зеленые. А то ведь, когда хочешь подорвать, попадаешься, как ребенок.

И опять охватила Егора радость воли, радость жизни.

— Ох, д-ничего ж я не видал, д-никого не знаю, — еще разок спел Егор. И включил свой славный ящичек на малую громкость. И пошел читать надписи на надгробиях. Кладбище огибала улица, и свет фар надолго освещал кресты — пока машина огибала угол. И тени от крестов, длинные,

уродливые, плыли по земле, по холмикам, по оградкам… Жутковатая, в общем-то, картина. А тут еще музычка Егорова — вовсе как-то нелепо. Егор выключил музыку.

— «Спи спокойно до светлого утра», — успевал прочитывать Егор. — «Купец первой гильдии Неверов»… А ты-то как здесь?! — удивился Егор. — Тыща восемьсот девяносто… А-а, ты уже давно. Ну-ну, купец первой гильдии… «Едут с товарами в путь из Касимова…» — запел было негромко Егор, но спохватился. — «Дорогому, незабвенному мужу от неутешной вдовы», — прочитал он дальше. Присел на скамеечку, посидел некоторое время… Встал. — Ну, ладно, ребята, вы лежите, а я пойду. Ничего не сделаешь… Пойду себе, как честный фраер: где-то же надо, в конце концов, приткнуть голову. Надо же? Надо. — И все же спел еще разок: — Д-ничего ж я не видал, д-никого ж не зна-аю.

И стал он искать, куда бы приткнуться.

У двери деревянного домика на самой окраине из сеней ему сурово сказали:

— Иди отсюда! А то я те выйду, покажу горе… Горе покажу и страдание.

Егор помолчал немного.

— Ну, выйди.

— И выйду!

— Выйдешь… Ты мне скажи: Нинка здесь или нет? — по-доброму спросил Егор мужика за дверью. — Только правду! А то ведь я узнаю… И строго накажу, если обманешь.

Мужик тоже помолчал. И тоже сменил тон, сказал дерзко, но хоть не так зло:

— Никакой здесь Нинки нет, тебе говорят! Неужели непонятно? Шляются тут по ночам-то.

— Поджечь, что ли, вас? — вслух подумал Егор. И брякнул спичками в кармане. — А?

За дверью долго молчали.

— Попробуй, — сказал наконец голос. Но уже вовсе не грозно. — Попробуй подожги. Нет Нинки, я те серьезно говорю. Уехала она.

— Куда?

— На Север куда-то.

— А чего ты лаяться кинулся? Неужели трудно было сразу объяснить?

— А потому что меня зло берет на вас! Из-за таких вот и уехала… С таким же вот.

— Ну, считай, что она в надежных руках — не пропадет. Будь здоров!

В телефонной будке Егор тоже рассердился.

— Почему нельзя-то?! Почем? — орал он в трубку.

Ему что-то долго объясняли.

— Заразы вы все, — с дрожью в голосе сказал Егор. — Я из вас букет сделаю, суки: головками вниз посажу в клумбу… Ну, твари! — Егор бросил трубку… И задумался. — Люба, — произнес он с дурашливой нежностью. — Все. Еду к Любе. — И он зло саданул дверью будки и пошагал к вокзалу. И говорил дорогой: — Ах ты, лапушка ты моя! Любушка-голубушка… Оладушек ты мой сибирский! Я хоть отъемся около тебя… Хоть волосы отрастут. Дорогуша ты моя сдобная! — Егор все набирал и набирал какого-то остервенения. — Съем я тебя поеду! — закричал он в тишину, в ночь. И даже не оглянулся посмотреть — не потревожил ли кого своим криком. Шаги его громко отдавались в пустой улице; подморозило на ночь, асфальт звенел. — Задушу в объятиях!.. Разорву и схаваю! И запью самогонкой. Все!

И вот районный автобус привез Егора в село Ясное.

А Егора на взгорке стояла и ждала Люба. Егор сразу увидел и узнал ее. В сердце толкнуло — она!

И пошел к ней.

— Ё-мое, — говорил он себе негромко, изумленный, — да она просто красавица! Просто зоренька ясная. Колобок просто… Красная шапочка…

— Здравствуйте, — сказал он вежливо и наигранно застенчиво. И подал руку. — Георгий. — И пожал с чувством крепкую крестьянскую руку. И — на всякий случай — тряхнул ее, тоже с чувством.

— Люба. — Женщина просто и как-то задумчиво глядела на Егора. Молчала. Егору от ее взгляда сделалось беспокойно.

— Это я, — сказал он. И почувствовал себя очень глупо.

— А это — я, — сказала Люба. И все смотрела на него спокойно и задумчиво.

— Я некрасивый, — зачем-то сказал Егор.

Люба засмеялась.

— Пойдем-ка посидим пока в чайной, — сказала она. — Расскажи про себя, что ли…

— Я непьющий, — поспешил Егор.

— Ой ли? — искренне удивилась Люба. И очень как-то просто у нее это получилось, естественно. Егора простота эта сбила с толку.

— Нет, я, конечно, моту поддержать компанию, но… это… не так чтоб засандалить там… Я очень умеренный.

— Да мы чайку выпьем, и все. Расскажешь про себя маленько. — Люба все смотрела на своего заочника… И так странно смотрела, точно над

собой же и подсмеивалась в душе, точно говорила себе, изумленная своим поступком: «Ну не дура ли я? Что затеяла-то?» Но женщина она, видно, самостоятельная: и смеется над собой, а делает, что хочет. — Пойдем… Расскажи. А то у меня мать с отцом строгие, говорят: и не заявляйся сюда со своим арестантом. — Люба шла несколько впереди и, говоря это, оглядывалась, и вид у нее был спокойный и веселый. — А я им говорю: да он арестант-то по случайности. По несчастью. Верно же?

Егор при известии, что у нее родители, да еще строгие, заскучал. Но вида не подал.

— Да-да, — сказал он «интеллигентно». — Стечение обстоятельств, громадная невезуха…

— Вот и я говорю.

— У вас родители — кержаки?

— Нет. Почему ты так решил?

— Строгие-то… Попрут еще. Я, например, курю.

— Господи, у меня отец сам курит. Брат, правда, не курит…

— И брат есть?

— Есть. У нас семья большая. У брата двое детей — большие уже: один в институте учится, другая десятилетку заканчивает.

— Все учатся… Это хорошо, — похвалил Егор. —

Молодцы. — Но, однако, ему кисло сделалось от такой родни.

Зашли в чайную. Сели в углу за столик. В чайной было людно, беспрестанно входили и выходили… И все с интересом разглядывали Егора. От этого тоже было неловко, неуютно.

— Может, мы возьмем бутылочку да пойдем куда-нибудь? — предложил Егор.

— Зачем? Здесь вон как славно… Нюра, Нюр! — позвала Люба девушку. — Принеси нам, голубушка… Чего принести-то? — повернулась к Егору.

— Красненького, — сказал Егор, снисходительно поморщившись. — У меня от водки изжога.

— Красненького, Нюр! — Загадочное впечатление производила Люба: она точно играла какую-то умную игру, играла спокойно, весело и с любопытством всматривалась в Егора: разгадал тот или нет, что это за игра?

— Ну, Георгий… — начала она, — расскажи, значит, про себя.

— Прямо как на допросе, — сказал Егор и мелко посмеялся. Но Люба его не поддержала, и Егор посерьезнел.

— Ну, что рассказывать? Я бухгалтер, работал в ОРСе, начальство, конечно, воровало… Тут — бах! — ревизия. И мне намотали… Мне, есте-

ственно, пришлось отдуваться. Слушай, — тоже перешел он на «ты», — давай уйдем отсюда: они смотрят, как эти…

— Да пусть смотрят! Чего они тебе? Ты же не сбежал.

— Вот справка! — воскликнул Егор. И полез было в карман.

— Я верю, верю, Господи! Я так, к слову. Ну, ну? И сколько же ты сидел?

— Пять.

— Ну?

— Все… А что еще?

— Это с такими ручищами ты — бухгалтер? Даже не верится.

— Что? Руки?.. А-а. Так это я их уже там натренировал… — Егор потянул руки со стола.

— Такими руками только замки ломать, а не на счетах… — Люба засмеялась.

И Егор, несколько встревоженный, фальшиво посмеялся тоже.

— Ну а здесь чем думаешь заниматься? Тоже бухгалтером будешь?

— Нет! — поспешно сказал Егор. — Бухгалтером я больше не буду.

— А кем же?

— Надо осмотреться… А может, малость попри-

держать коней, Люба? — Егор тоже прямо глянул в глаза женщины. — Ты как-то сразу погнала вмах: работа, работа… Работа — не Алитет. Подожди с этим.

— А зачем ты меня обманывать-то стал? — тоже прямо спросила Люба. — Я же писала вашему начальнику, и он мне ответил…

— А-а, — протянул Егор, пораженный. — Вот оно что… — И ему стало легко и даже весело. — Ну, тогда гони всю тройку под гору. Наливай.

И включил Егор музыку.

— А такие письма писал хорошие, — с сожалением сказала Люба. — Это же не письма, а целые… поэмы прямо целые.

— Да? — оживился Егор. — Тебе нравятся? Может, талант пропадает… — Он пропел: — Пропала молодость, талант в стенах тюрьмы. Давай, Любовь, наливай. Централка, все ночи полные огня… Давай, давай!

— А чего ты-то погнал? Подожди… Поговорим.

— Ну, начальничек, мля! — воскликнул Егор. — И ничего не сказал мне. А тихим фраером я подъехал? Да? Бухгалтером… — Егор хохотнул. — Бухгалтер… По учету товаров широкого потребления.

— Так чего же ты хотел, Георгий? — спроси-

ла Люба. — Обманывал-то… Обокрасть, что ли, меня?

— Ну, мать!.. Ты даешь! Поехал в далекие края — две пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люба.

— А чего же?

— Что?

— Чего хочешь-то?

— Не знаю. Может, отдых душе устроить… Но это тоже не то: для меня отдых — это… Да. Не знаю, не знаю, Любовь.

— Эх, Егорушка.

Егор даже вздрогнул и испуганно глянул на Любу: так похоже она это сказала — так говорила далекая Люсьен.

— Что?

— Ведь и правда, пристал ты, как конь в гору… только еще боками не проваливаешь. Да пена изо рта не идет. Упадешь ведь. Запалишься и упадешь. У тебя правда, что ли, никого нету? Родных-то…

— Нет, я сиротинушка горькая. Я же писал. Кличка моя знаешь какая? Горе. Мой псевдоним. Но все же ты мне на мозоль, пожалуйста, не наступай. Не надо. Я еще не побирушка. Чего-чего, а магазинчик-то подломить я еще смогу. Иногда я

бываю фантастически богат, Люба. Жаль, что ты мне не в эту пору встретилась… Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие… вполне презираю.

— Презираешь, а идешь из-за них на такую страсть.

— Я не из-за денег иду.

— Из-за чего же?

— Никем больше не могу быть на этой земле — только вором. — Егор сказал это с гордостью. Ему было очень легко с Любой. Хотелось, например, чем-нибудь ее удивить.

— Ое-ей! Ну, допивай да пойдем, — сказала Люба.

— Куда? — удивился Егор.

— Ко мне. Ты же ко мне приехал. Или у тебя еще где-нибудь заочница есть? — Люба засмеялась. Ей было легко с Егором, очень легко.

— Погоди… — не понимал Егор. — Но мы же теперь выяснили, что я не бухгалтер…

— Ну, уж ты тоже выбрал профессию… — Люба качнула головой. — Хотя бы уж свиновод, что ли, и то лучше. Выдумал бы какой-нибудь падеж свиней — ну, осудили, мол. А ты, и правда-то, не похож на жулика. Нормальный мужик… Даже вроде наш, деревенский. Ну, свиновод, пошли, что ли?

— Между прочим, — не без фанаберии заговорил Егор, — к вашему сведению: я шофер второго класса.

— И права есть? — с недоверием спросила Люба.

— Права в Магадане.

— Ну, видишь, тебе же цены нет, а ты — Горе! Бича хорошего нет на это горе. Пошли.

— Типичная крестьянская психология. Ломовая. Я рецидивист, дурочка. Я ворюга несусветный. Я…

— Тише! Что, опьянел, что ли?

— Так. А в чем дело? — опомнился Егор. — Не понимаю, объясни, пожалуйста. Ну, мы пойдем… Что дальше?

— Пошли ко мне. Отдохни хоть с недельку… Украсть у меня все равно нечего. Отдышись… Потом уж поедешь магазины ломать. Пойдем. А то люди скажут, встретила — от ворот поворот. Зачем же тогда звала? Знаешь, мы тут какие!.. Сразу друг друга осудим. Да и потом… не боюсь я тебя чего-то, не знаю.

— Так. А папаша твой не приголубит меня… колуном по лбу? Мало ли какая ему мысль придет в голову.

— Нет, ничего. Теперь уж надейся на меня.

Дом у Байкаловых большой, крестовый. В одной половине дома жила Люба со стариками, через стенку — брат с семьей.

Дом стоял на высоком берегу реки, за рекой открывались необозримые дали. Хозяйство у Байкаловых налаженное, широкий двор с постройками, баня на самой крутизне.

Старики Байкаловы как раз стряпали пельмени, когда хозяйка, Михайловна, увидела в окно Любу и Егора.

— Гли-ка, ведет ведь! — всполошилась она. — Любка-то!.. Рестанта-то!..

Старик тоже приник к окошку.

— Вот теперь заживем! — в сердцах сказал он. — По внутреннему распорядку, язви тя в душу! Вот это отчебучила дочь!

Видно было, как Люба что-то рассказывает Егору: показывала рукой за реку, оглядывалась и показывала назад, на село. Егор послушно крутил головой. Но больше взглядывал на дом Любы, на окна.

А тут переполох полный. Все же не верили старики, что кто-то приедет к ним из тюрьмы. И хоть Люба и телеграмму им показывала от Егора, все равно не верилось. А обернулось все чистой правдой.

— Ну окаянная, ну, халда! — сокрушалась старуха. — Ну, чо я могла с халдой поделать? Ничо же я не могла…

— Ты вида не показывай, что мы напужались или ишо чего… — учил ее дед. — Видали мы таких… разбойников! Стенька Разин нашелся.

— Однако и приветить ведь надо?.. — первая же и сообразила старуха. — Или как? У меня голова кругом пошла — не соображу…

— Надо. Все будем по-людски делать, а там уж поглядим: может, жизни свои покладем… через дочь родную. Ну, Любка, Любка…

Вошли Люба с Егором.

— Здравствуйте! — приветливо сказал Егор.

Старики в ответ только кивнули… И открыто, в упор разглядывали Егора.

— Ну, вот и бухгалтер наш, — как ни в чем не бывало заговорила Люба. — И никакой он вовсе не разбойник с большой дороги, а попал по… этому, по…

— По недоразумению, — подсказал Егор.

— И сколько же счас дают за недоразумение? — спросил старик.

— Пять, — кротко ответил Егор.

— Мало. Раньше больше давали.

— По какому же такому недоразумению загу-

дел-то? — прямо спросила старуха.

— Начальство воровало, а он списывал, — пояснила Люба. — Ну, допросили? А теперь покормить надо — человек с дороги. Садись пока, Георгий.

Егор обнажил свою стриженую голову и скромненько присел на краешек стула.

— Посиди пока, — велела Люба. — Я пойду баню затоплю. И будем обедать.

Люба ушла. Нарочно, похоже, ушла — чтобы они тут до чего-нибудь хоть договорились. Сами. Наверно, надеялась на своих незлобивых родителей.

— Закурить можно? — спросил Егор.

Не то что тяжело ему было — ну и выгонят, делов-то! — но если бы, например, все обошлось миром, то оно бы и лучше. Интереснее. Конечно, не ради одного голого интереса хотелось бы здесь прижиться хоть на малое время, а еще и надо было… Где-то надо было и пересидеть пока, и осмотреться.

— Кури, — разрешил дед. — Какие куришь?

— «Памир».

— Сигаретки, что ли?

— Сигаретки.

— Ну-ка, дай я опробую.

Дед подсел к Егору. И все приглядывался к нему,

приглядывался.

Закурили.

— Дак какое, говоришь, недоразумение-то вышло? Метил кому-нибудь по лбу, а угодил в лоб? — как бы между делом спросил дед.

Егор посмотрел на смекалистого старика.

— Да… — неопределенно сказал он. — Семерых в одном месте зарезали, а восьмого не углядели — ушел. Вот и попались…

Старуха выронила из рук полено и села на лавку.

Старик оказался умнее, не испугался.

— Семерых?

— Семерых. Напрочь: головы в мешок поклали и ушли.

— Свят-свят-свят… — закрестилась старуха. — Федя…

— Тихо! — скомандовал старик. — Один дурак городит чего ни попадя, а другая… А ты, кобель, аккуратней с языком-то: тут пожилые люди.

— Так что же вы, пожилые люди, сами меня с ходу в разбойники записали? Вам говорят — бухгалтер, а вы, можно сказать, хихикаете. Ну — из тюрьмы… Что же, в тюрьме одни только убийцы сидят?

— Кто тебя в убийцы зачисляет! Но только ты

тоже, того… что ты булгахтер, это ты тоже… не заливай тут. Булгахтер! Я булгахтеров-то видел-перевидел!.. Булгахтера тихие все, маленько вроде пришибленные. У булгахтера голос слабенький, очечки… и, потом, я заметил: они все курносые. Какой же ты булгахтер — об твой лоб-то можно поросят шестимесячных бить. Это ты Любке вон говори про булгахтера — она поверит. А я, как ты зашел, сразу определил: этот — или за драку, или машину лесу украл. Так?

— Тебе прямо оперуполномоченным работать, отец, — сказал Егор. — Цены бы не было. Колчаку не служил в молодые годы? В контрразведке белогвардейской?

Старик часто-часто заморгал. Тут он чего-то растерялся. А чего — он и сам не знал. Слова очень уж зловещие.

— Ты чего это? — спросил он. — Чего мелешь-то?

— А чего так сразу смутился? Я просто спрашиваю… Хорошо, другой вопрос: колоски в трудные годы воровал с колхозных полей?

Старик, изумленный таким неожиданным оборотом, молчал. Он вовсе сбился с налаженного было снисходительного тона и не находил, что отвечать этому обормоту. Впрочем, Егор так и по-

строил свой «допрос», чтобы сбивать и не давать опомниться. Он повидал в своей жизни мастеров этого дела.

— Затрудняетесь, — продолжал Егор. — Ну, хорошо… Ну, поставим вопрос несколько иначе, по-домашнему, что ли: на собраниях часто выступаем?

— Ты чего тут Микитку-то из себя строишь? — спросил наконец старик. И готов был очень обозлиться. Готов был наговорить много и сердито, но тут Егор пружинисто снялся с места, надел форменную свою фуражку и заходил по комнате.

— Видите, как мы славно пристроились жить! — заговорил Егор, изредка остро взглядывая на сидящего старика. — Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна… Люди напрягают все силы. Люди буквально падают от напряжения, ликвидируют все остатки разгильдяйства и слабоумия, люди, можно сказать, заикаются от напряжения. — Егор наскочил на слово «напряжение» и с удовольствием смаковал его. — Люди покрываются морщинами на Крайнем Севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы… А в это самое время находятся другие люди, которые из всех достижений человечества облюбовали себе печку! Вот как! Славно,

славно… Будем лучше чувал подпирать ногами, чем дружно напрягаться вместе со всеми…

— Да он с десяти годов работает! — встряла старуха. — Он с малолетства на пашне…

— Реплики потом, — резковато осадил ее Егор. — А то мы все добренькие, когда это не касается наших интересов, нашего, так сказать, кармана…

— Я — стахановец вечный! — чуть не закричал старик. — У меня восемнадцать похвальных грамот.

Егор остановился удивленный.

— Так чего же ты сидишь молчишь? — спросил он другим тоном.

— Молчишь… Ты же мне слова не даешь воткнуть!

— Где похвальные грамоты?

— Там, — сказала старуха, вконец тоже сбитая с толку.

— Где «там»?

— Вон, в шкапчике… все прибраны.

— Им место не в шкапчике, а на стене! В «шкапчике». Привыкли все по шкапчикам прятать, понимаешь…

В это время вошла Люба.

— Ну, как вы тут? — спросила она весело — она

разрумянилась в бане, волосы выбились из-под платка… Такая она была хорошая! Егор невольно загляделся на нее. — Все тут у вас хорошо? Мирно?

— Ну и ухаря ты себе нашла! — с неподдельным восторгом сказал старик. — Ты гляди, как он тут попер!.. Чисто комиссар какой! — Старик засмеялся.

Старуха только головой покачала… И сердито поджала губы.

Так познакомился Егор с родителями Любы.

С братом ее, Петром, и его семьей знакомство произошло позже.

Петро въехал во двор на самосвале… Долго рычал самосвал, сотрясая стекла окошек. Наконец стал на место, мотор заглох, и Петро вылез из кабины. К нему подошла жена Зоя, продавщица сельпо, членораздельная бабочка, быстрая и суетливая.

— К Любке-то приехал… Этот-то, заочник-то, — сразу сообщила она.

— Да? — нехотя полюбопытствовал Петро, здоровый мужчина, угрюмоватый, весь в каких-то своих думах. — Ну и что? — Пнул баллон, другой.

— Говорит, был бухгалтером, ну, мол, ревизия — то-се… А по роже видать: бандит.

— Да? — опять нехотя и лениво сказал Петро. — Ну и что?

— Да ничего. Надо осторожней первое время… Ты иди глянь на этого бухгалтера! Иди глянь! Нож воткнет и не задумается этот бухгалтер.

— Да? — Петро продолжал пинать баллоны. — Ну и что?

— Ты иди глянь на него! Иди глянь! Вот так нашла себе!.. Иди глянь на него — нам же под одной крышей жить теперь.

— Ну и что?

— Ничего! — завысила голос Зоя. — У нас дочь-школьница, вот что! Заладил свое: «Ну и что? Ну и что?» Мы то и дело одни на ночь остаемся, вот что! «Ну и что». Чтокалка чертова, пень! Жену с дочерью зарежут, он шагу не прибавит…

Петро пошел в дом, вытирая на ходу руки ветошью. Насчет того, что он «шагу не прибавит» — это как-то на него похоже: на редкость спокойный мужик, медлительный, но весь налит свинцовой разящей силой. Сила эта чувствовалась в каждом движении Петра, в том, как он медленно ворочал головой и смотрел маленькими своими глазами — прямо и с каким-то стылым, немигающим бесстрашием.

— Вот счас с Петром вместе пойдете, — говори-

ла Люба, собирая Егора в баню. — Чего же тебе переодеть-то дать? Как же ты так: едешь свататься, и даже лишней пары белья нету? Ну? Кто же так заявляется!

— На то она и тюрьма! — воскликнул старик. — А не курорт. С курорта и то, бывает, приезжают прозрачные. Илюха вон Лопатин радикулит ездил лечить: корову целую ухнул, а приехал без копья.

— Ну-ка вот, мужнины бывшие… Нашла. Небось годится. — Люба извлекла из сундучка длинную белую рубаху и кальсоны.

— То есть? — не понял Егор.

— Моего мужика бывшего… — Люба стояла с бельем в руках. — А чего?

— Да я что?! — обиделся Егор. — Совсем, что ли, подзаборник — чужое белье напялю. У меня есть деньги — надо сходить и купить в магазине.

— Где ты теперь купишь? Закрыто уж все. А чего тут такого? Оно стираное…

— Бери, чего? — сказал и старик. — Оно же чистое.

Егор подумал и взял.

— Опускаюсь все ниже и ниже, — проворчал он при этом. — Даже самому интересно… Я потом вам спою песню: «Во саду ли, в огороде».

— Иди, иди, — провожала его к выходу Люба. — Петро у нас не шибко ласковый, так что не удивляйся: он со всеми такой.

Петро уже раздевался в предбаннике, когда туда сунулся Егор.

— Бритых принимают? — постарался он заговорить как можно веселее, даже рот растянул в улыбке.

— Всяких принимают, — все тем же ровным голосом, каким он говорил «ну и что», сказал Петро.

— Будем знакомы, Георгий. — Егор протянул руку. И все улыбался и заглядывал в сумрачные глаза Петра. Все же хотелось ему освоиться среди этих людей, почему-то теперь хотелось. Люба, что ли?.. — Я говорю: я — Георгий.

— Ну-ну, — сказал Петро. — Давай еще целоваться. Георгий, значит, Георгий. Значит, Жора…

— Джордж. — Егор остался с протянутой рукой. Перестал улыбаться.

— А? — не понял Петро.

— На! — с сердцем сказал Егор. — Курва, суюсь сегодня, как побирушка!.. — Егор бросил белье на лавку. — Осталось только хвостом повилять. Что, я тебе дорогу перешел, что ты мне руку не соизволил подать?

Егор и вправду заволновался и полез в карман за сигаретой. Закурил. Сел на лавочку. Руки у него чуть дрожали.

— Чего ты? — спросил Петро. — Расселся-то?

— Иди мойся, — сказал Егор. — Я потом. Я же из заключения… Мы после вас. Не беспокойтесь.

— Во!.. — сказал Петро. И, не снимая трусов, вошел в баню. Слышно было, как он загремел там тазами, ковшом…

Егор прилег на широкую лавку, курил.

— Ну надо же!.. — сказал он. — Как бедный родственник, мля.

Открылась дверь бани, из парного облака выглянул Петро.

— Чего ты? — спросил он.

— Чего?

— Чего лежишь-то?

— Я подкидыш.

— Во!.. — сказал Петро. И усунулся опять в баню. Долго там наливал воду в тазы, двигал лавки… Не выдержал и опять открыл дверь. — Ты пойдешь или нет?! — спросил он.

— У меня справка об освобождении! — чуть не заорал ему в лицо Егор. — Я завтра пойду и получу такой же паспорт, как у тебя! Точно такой, за исключением маленькой пометки, которую

никто не читает. Понял?

— Счас возьму и силком суну в тазик, — сказал Петро невыразительно. — И посажу на каменку. Без паспорта. — Петру самому понравилось, как он сострил. Еще добавил: — Со справкой. — И хохотнул коротко.

— Вот это уже другой разговор! — Егор сел на лавке. И стал раздеваться. — А то начинает тут… Диплом ему покажи!

А в это время мать Любина и Зоя, жена Петра, загнали в угол Любу и наперебой допрашивали ее.

— На кой ты его в чайную-то повела? — визгливо спрашивала членораздельная Зоя, женщина вполне истеричная. — Ведь вся уж деревня знает: к Любке тюремщик приехал! Мне на работе прямо сказали…

— Любка, Любка!.. — насилу дозвалась мать. — Ты скажи так: если ты, скажи, просто так приехал — жир накопить да потом опять зауситься по свету, — то, скажи, уезжай седни же, не позорь меня перед людями. Если, скажи, у тебя…

— Как это может так быть, чтобы у него семьи не было? Как? Что он — парень семнадцати годов? Ты думаешь своей головой-то?

— Ты скажи так: если, скажи, у тебя чего худое на уме, то собирай манатки и…

— Ему собраться — только подпоясаться, — встрял в разговор молчавший до этого старик. — Чего вы навалились на девку? Чего счас с нее спрашивать? Тут уж — как выйдет, какой человек окажется. Как она за него может счас заручиться?

— Не пугайте вы меня ради Христа, — только и сказала Люба. — Я сама боюсь. Что, вы думаете, просто мне?

— Вот!.. Я тебе чего и говорю-то! — воскликнула Зоя.

— Ты вот чего… девка… Любка, слышь? — опять затормошила Любу мать. — Ты скажи так: вот чего, добрый человек, иди седни ночуй где-нибудь.

— Это где же? — обалдела Люба.

— В сельсовете.

— Тьфу! — разозлился старик. — Да вы что, совсем одурели?! Гляди-ка: вызвали мужика да отправили его в сельсовет ночевать! Вот так да!.. Совсем уж нехристи какие-то.

— Пусть его завтра милиционер обследует, — не сдавалась мать.

— Чего его обследовать-то? Он весь налицо.

— Не знаю… — заговорила Люба. — А вот кажется мне, что он хороший человек. Я как-то по глазам вижу… Еще на карточке заметила: глаза

какие-то… грустные. Вот хоть убейте вы меня — мне его жалко. Может, я и…

Тут из бани с диким ревом выскочил Петро и покатился с веником по сырой земле.

— Свари-ил! — кричал Петро. — Живьем сварил!..

Следом выскочил Егор с ковшом в руке.

К Петру уже бежали из дома. Старик бежал с топором.

— Убили! Убили! — заполошно кричала Зоя, жена Петра. — Люди добрые, убили!..

— Не ори, — страдальческим голосом попросил Петро, садясь и поглаживая ошпаренный бок. — Чего ты?

— Чего, Петька? — спросил запыхавшийся старик.

— Попросил этого полудурка плеснуть ковшик горячей воды — поддать на каменку, а он взял меня да окатил.

— А я еще удивился, — растерянно говорил Егор, — как же, думаю, он стерпит?.. Вода-то ведь горячая. Я еще пальцем попробовал — прямо кипяток! Как же, думаю, он вытерпит? Ну, думаю, закаленный, наверно. Наверно, думаю, кожа, как у быка, — толстая. Я же не знал, что надо на каменку.

— «Пальцем попробовал», — передразнил Петро. — Что, совсем уж? Ребенок, что ли, малый?

— Я же думал, тебе окупнуться надо…

— Да я еще не парился! — заорал спокойный Петро. — Я еще не мылся даже!.. Чего мне ополаскиваться-то?

— Жиром каким-нибудь надо смазать, — сказал отец, исследовав ожог. — Ничего тут страшного нету. Надо только жиру какого-нибудь… Ну-ка, кто?

— У меня сало баранье есть, — сказала Зоя. И побежала в дом.

— Ладно, расходитесь, — велел старик. — А то уж вон людишки сбегаются.

— Да как же это ты, Егор? — спросила Люба.

Егор поддернул трусы и опять стал оправдываться.

— Понимаешь, как вышло: он уже наподдавал — дышать нечем — и просит: «Дай ковшик горячей». Ну, думаю, хочет мужик температурный баланс навести…

— «Бала-анс», — опять передразнил его Петро. — Навел бы я те счас баланс — ковшом по лбу! Вот же полудурок-то, весь бок ошпарил. А если бы там живой кипяток был?

— Я же пальцем попробовал…

— «Пальцем»!.. Чем тебя только делали, такого.

— Ну, дай мне по лбу, правда, — взмолился Егор, — мне легче будет. — Он протянул Петру ковш. — Дай, умоляю…

— Петро… — заговорила Люба. — Он же нечаянно. Ну, что теперь?

— Да идите вы в дом, ей-Богу! — рассердился на всех Петро. — Вон и правда люди собираться начали.

У изгороди Байкаловых действительно остановилось человек шесть-семь любопытных.

— Чо там у их? — спросил у стоявших вновь подошедший мужик.

— Петро ихний… Пьяный на каменку свалился, — пояснила какая-то старушка.

— Ох, е!.. — сказал мужик. — Дак а живой ли?

— Живой… Вишь, сидит. Чухается.

— Вот заорал-то, наверно!

— Так заорал, так заорал!.. У меня ажник стекла задребезжали.

— Заорешь…

— Чо же, задом, что ли, приспособился?

— Как же задом? Он же сидит.

— Да сидит же… Боком, наверно, угодил. А эт кто же у их? Что за мужик-то?

— Это ж надо так пить! — удивлялась старуш-

ка.

Засиделись далеко за полночь.

Старые люди, слегка захмелев, заговорили и заспорили о каких-то своих делах. Их, старых, набралось за столом изрядно, человек двенадцать. Говорили, перебивая друг друга, а то и сразу по двое, по трое.

— Ты кого говоришь-то? Кого говоришь-то? Она замуж-то вон куда выходила — в Краюшкино, ну!

— Правильно. За этого, как его? За этого…

— За Митьку Хромова она выходила!

— Ну, за Митьку.

— А Хромовых раскулачили…

— Кого раскулачили? Громовых? Здорово живешь?..

— Да не Громовых, а Хромовых!

— А-а. А то я слушаю — Громовых. Мы с Михайлой-то Громовым шишковать в чернь ездили.

— А когда, значит, самого-то Хромова раскулачили…

— Правильно, он маслобойку держал.

— Кто маслобойку держал? Хромов? Это маслобойку-то Воиновы держали, ты чо! А Хромов, сам-то, гурты вон перегонял из Монголии. Шерстобитку они держали, верно, а маслобойку

Воиновы держали. Их тоже раскулачили. А самого Хромова прямо от гурта взяли… Я ишо помню: амбар у их стали ломать — пимы искали, они пимы катали, вся деревня, помню, сбежалась глядеть.

— Нашли?

— Девять пар.

— Дак, а Митьку-то не тронули?

— А Митька-то успел уже, отделился. Вот как раз на Кланьке-то женился, его отец и отделил. Их не тронули. Но все равно, когда отца увезли, Митька сам уехал из Краюшкина: чижало ему показалось после этого жить там.

— Погоди-ка, а кто же тада у их в Карасук выходил?

— Это Манька! Манька-то тоже ишо живая, в городе у дочери живет. Да тоже плохо живет! Этто как-то стрела ее на базаре: жалеет, что дом продала в деревне. Пока, говорит, ребятишки, внучатки-то маленькие были, говорит, нужна была, а ребятишки выросли — в тягость стала.

— Оно так, — сказали враз несколько старух. — Пока водисся — нужна, как маленько ребятишки подросли — не нужна.

— Ишо какой зять попадет. Попадет обмылок какой-нибудь — он тебе…

— Какие они нынче, зятья-то! Известное дело…

Несколько в сторонке от пожилых сидели Егор с Любой. Люба показывала семейный альбом с фотографиями, который сама она собрала и бережно хранила.

— А это Михаил, — показывала Люба братьев. — А это Павел и Ваня… вместе. Они сперва вместе воевали, потом Пашу ранило, но он поправился и опять пошел. И тогда уж его убило. А Ваню последним убило, в Берлине. Нам командир письмо прислал… Мне Ваню больше всех жалко, он такой веселый был. Везде меня с собой таскал, я маленькая была. А помню его хорошо… Во сне вижу — смеется. Вишь, и здесь смеется. А вот Петро наш… Во, строгий какой, а самому всего только… сколько же? Восемнадцать ему было? Да, восемнадцать. Он в плен попадал, потом наши освободили их. Его там избили сильно… А больше нигде даже не царапнуло.

Егор поднял голову, посмотрел на Петра… Петро сидел один, курил. Выпитое на нем не отразилось никак, он сидел, как всегда, задумчивый и спокойный.

— Зато я его сегодня… ополоснул. Как черт под руку подтолкнул.

Люба склонилась ближе к Егору и спросила

негромко и хитро:

— А ты не нарочно его? Прямо не верится, что ты…

— Да ты что! — искренне воскликнул Егор. — Я, правда, думал, он на себя просит, как говорится: вызываю огонь на себя.

— Да ты же из деревни, говоришь, как же ты так подумал?

— Ну… везде свои обычаи.

— А я уж, грешным делом, решила: сказал ему чего-нибудь Петро не так, тот прикинулся дурачком да и плесканул.

— Ну!.. Что ж я?..

Петро, почувствовав, что на него смотрят и говорят о нем, посмотрел в их сторону… Встретились взглядом с Егором. Петро по-доброму усмехнулся.

— Что, Жоржик, сварил было?

— Ты прости, Петро.

— Да будет! Заведи-ка еще разок свою музыку, хорошая музыка.

Егор включил магнитофон. И грянул тот самый марш, под который Егор входил в «малину». Жизнерадостный марш, жизнеутверждающий. Он странно звучал здесь, в крестьянской избе, — каким-то нездешним ярким движением вломился

в мирную беседу. Но движение есть движение: постепенно разговор за столом стих. И все сидели и слушали марш-движение.

А ночью было тихо-тихо. Светила в окно луна.

Егору постелили в одной комнате со стариками, за цветастой занавеской, которую насквозь всю прошивал лунный свет.

Люба спала в горнице. Дверь в горницу была открыта. Там тоже было тихо.

Егору не спалось. Эта тишина бесила.

Он приподнял голову, прислушался… Тихо. Только старик похрапывает да тикают ходики.

Егор ужом выскользнул из-под одеяла и, ослепительно белый, в кальсонах и длинной рубахе, неслышно прокрался в горницу. Ничто не стукнуло, не скрипнуло… Только хрустнула какая-то косточка в ноге Егора, в лапе где-то.

Он дошел уже до двери горницы. И ступил уже шаг-другой по горнице, когда в тишине прозвучал отчетливый, никакой не сонный голос Любы:

— Ну-ка, марш на место!

Егор остановился. Малость помолчал…

— А в чем дело-то? — спросил он обиженно, шепотом.

— Ни в чем. Иди спать.

— Мне не спится.

— Ну, так лежи… думай о будущем.

— Но я хотел поговорить! — стал злиться Егор. — Хотел задать пару вопросов…

— Завтра поговорим. Какие вопросы ночью?

— Один вопрос! — вконец обозлился Егор. — Больше не задам…

— Любка, возьми чего-нибудь… Возьми сковородник, — раздался вдруг голос старухи сзади, тоже никакой не заспанный.

— У меня пестик под подушкой, — сказала Люба.

Егор пошел на место.

— Поше-ол… На цыпочках. Котяра, — сказала еще старуха. — Думает, его не слышут. Я все слышу. И вижу.

— Фраер!.. — злился шепотом Егор за цветастой занавеской. — Отдохнуть душой!.. Телом!.. Фраер со справкой!

Он полежал тихо… Перевернулся на другой бок.

— Луна еще, сука!.. Как сдурела. — Он опять перевернулся. — Круговую оборону заняли, понял! Кого охранять, спрашивается?

— Не ворчи, не ворчи там, — миролюбиво уже сказала старуха. — Разворчался.

И вдруг Егор громко, отчетливо, остервенело

процитировал:

— Ее нижняя юбка была в широкую красную и синюю полоску и казалась сделанной из театрального занавеса. Я бы много дал, чтобы занять первое место, но спектакль не состоялся. — Пауза. И потом в тишину из-за занавески полетело еще — последнее, ученое: — Лихтенберг! Афоризмы!

Старик перестал храпеть и спросил встревоженно:

— Кто? Чего вы?

— Да вон… ругается лежит, — сказала старуха недовольно. — Первое место не занял, вишь.

— Это не я ругаюсь, — пояснил Егор. — А Лихтенберг.

— Я вот поругаюсь, — проворчал старик. — Чего ты там?

— Это не я! — раздраженно воскликнул Егор. — Так сказал Лихтенберг. И он вовсе не ругается, он острит.

— Тоже, наверно, булгахтер? — спросил старик не без издевки.

— Француз, — откликнулся Егор.

— А?

— Француз!

— Спите! — сердито сказала старуха. — Разговорились.

Стало тихо. Только тикали ходики.

И пялилась в окошки луна.

Наутро, когда отзавтракали и Люба с Егором остались одни за столом, Егор сказал:

— Так, Любовь… Еду в город заниматься эки… ров… экипировкой. Оденусь.

Люба спокойно, чуть усмешливо, но с едва уловимой грустью смотрела на него. Молчала, как будто понимала нечто большее, чем то, что ей сказал Егор.

— Ехай, — сказала она тихо.

— А чего ты так смотришь? — Егор и сам засмотрелся на нее, на утреннюю, хорошую. И почувствовал тревогу от возможной разлуки с ней. И ему тоже стало грустно, но он грустить не умел — он нервничал.

— Как?

— Не веришь мне?

Люба долго опять молчала.

— Делай как тебе душа велит, Егор. Что ты спрашиваешь — верю, не верю?.. Верю я или не верю — тебя же это не остановит.

Егор нагнул свою стриженую голову.

— Я бы хотел не врать, Люба, — заговорил он решительно. — Мне всю жизнь противно врать… Я вру, конечно, но от этого… только тяжелей

жить. Я вру и презираю себя. И охота уж добить свою жизнь совсем, вдребезги. Только бы веселей и желательно с водкой. Поэтому сейчас я не буду врать: я не знаю. Может, вернусь. Может, нет.

— Спасибо за правду, Егор.

— Ты хорошая, — вырвалось у Егора. И он засуетился, хуже того, занервничал. — Повело!.. Сколько ж я раз говорил это слово. Я же его замусолил. Ничего же слова не стоят! Что за люди!.. Дай, я сделаю так. — Егор положил свою руку на руку Любы. — Останусь один и спрошу свою душу. Мне надо, Люба.

— Делай, как нужно. Я тебе ничего не говорю. Уйдешь, мне будет жалко. Жалко-жалко! Я, наверно, заплачу… — У Любы и теперь на глазах выступили слезы. — Но худого слова не скажу.

Егору вовсе стало невмоготу: он не переносил слез.

— Так… Все, Любовь. Больше не могу — тяжело. Прошу пардона.

И вот шагает он раздольным молодым полем… Поле непаханое, и на нем только-только проклюнулась первая остренькая травка. Егор шагает широко. Решительно. Упрямо. Так он и по жизни своей шагал, как по этому полю, — решительно и упрямо. Падал, поднимался и опять шел. Шел

— как будто в этом одном все исступление, чтобы идти и идти, не останавливаясь, не оглядываясь, как будто так можно уйти от себя самого.

И вдруг за ним — невесть откуда, один за одним — стали появляться люди. Появляются и идут за ним, едва поспевают. Это все его дружки, подружки, потертые, помятые, с бессовестным откровением в глазах. Все молчат. Молчит и Егор — шагает. А за ним толпа все прибывает… И долго шли так. Потом Егор вдруг резко остановился и, не оглядываясь, с силой отмахнулся от всех и сказал зло, сквозь зубы:

— Ну, будет уж! Будет!

Оглянулся. Ему навстречу шагает один только Губошлеп. Идет и улыбается. И держит руку в кармане. Егор стиснул крепче зубы и тоже сунул руки в карманы… И Губошлеп пропал.

…А стоял Егор на дороге и поджидал: не поедет ли автобус или какая-нибудь попутная машина — до города.

Одна грузовая показалась вдали.

Работалось и не работалось Любе в тот день… Перемогалась душой. Призналась нежданно подруге своей, когда отдоились, молоко увезли и они выходили со скотного двора:

— Гляди-ка, Верка, присохла ведь я к мужику-

то. — Сказала и сама подивилась. — Ну, надо же! Болит и болит душа — весь день.

— Так а совсем уехал-то? Чего сказал-то?

— Сам, говорит, не знаю.

— Да пошли ты его к черту! Плюнь. Ка-кой! «Сам не знаю». У него жена где-нибудь есть. Что говорит-то?

— Не знаю. Никого, говорит, нету.

— Врет! Любка, не дури: прими опять Кольку, да живите. Все они пьют нынче! Кто не пьет-то? Мой вон позавчера пришел… Ну, паразит!.. — И Верка, коротконогая живая бабочка, по секрету, негромко рассказала: — Пришел, кэ-эк я его скалкой огрела! Даже сама напугалась. А утром встал — голова, говорит, болит, ударился где-то. Я ему: пить надо меньше. — И Верка мелко-мелко засмеялась.

— И когда успела-то? — удивилась опять Любка своим мыслям.

— А? — не поняла Верка.

— Да когда, говорю, успела-то? Видела-то… всего сутки. Как же так? Неужели так бывает?

— Он за что сидел-то?

— За кражу… — И Любка беспомощно посмотрела на подругу.

— Шило на мыло, — сказала та. — Пьяницу на

вора… Ну и судьбина тебе выпала! Живи одна, Любка. Может, потом путный какой подвернется. А ну-ка да его опять воровать потянет? Что тогда?

— Что тогда? Посадют.

— Ну, язви тебя-то! Ты что, полоумная, что ли?

— А я сама не знаю, чего я. Как сдурела. Самой противно… Вот болит и болит душа, как, скажи, век я его знала. А знала — сутки. Правда, он целый год письма слал…

— Да им там делать-то нечего, они и пишут.

— Но ты бы знала, какие письма!..

— Про любовь?

— Да нет… Все про жизнь. Он, правда, наверно, повидал много, черт стриженый. Так напишет — прямо сердце заболит, читаешь. И я уж и не знаю: то ли я его люблю, то ли мне его жалко. А вот болит душа — и все.

А Егор в это самое время делал свои дела в райгороде.

Перво-наперво он шикарно оделся.

Шел по улице небольшого деревянного городка, по деревянному тротуару, в новеньком костюме, при галстуке, в шляпе, руки в карманах.

Зашел на почту. Написал на телеграфном бланке адрес, сумму прописью и несколько слов

привета. Подал бланк, облокотился возле окошечка и стал считать деньги.

— «Деньги передашь Губошлепу», — прочитала девушка в окошечке. — Губошлеп — это фамилия, что ли?

Егор секунду-две думал. И сказал:

— Совершенно верно, фамилия.

— А чего же вы пишете с маленькой буквы? Ну и фамилия!..

— Бывают похуже, — сказал Егор. — У нас в тресте один был — Пистонов.

Девушка подняла голову. Она была очень миленькая девушка, глазастенькая, с коротким тупым носиком.

— Ну и что?

— Ничего. Фамилия, мол, Пистонов. — Егор был серьезен. Он помнил, что он в шляпе.

— Ну, и… нормальная фамилия.

— Вообще-то нормальная, — согласился Егор. И вдруг забыл, что он в шляпе, улыбнулся. И обеспокоился. — Скажите, пожалуйста, — сунулся он в окошечко, — вот я приехал с золотых приисков, а у меня совершенно тут никаких знакомых…

— Ну и что? — не поняла девушка.

— У вас есть молодой человек? — прямо спросил Егор.

— А вам что? — Тупоносенькая вроде не очень удивилась, а даже оставила работу и смотрела на Егора.

— Я в том смысле, что не могли бы мы вместе совершить какое-нибудь уникальное турне по городу?

— Гражданин!.. — строго повысила голос девушка. — Вы не хамите тут! Вы деньги переводите? Вот и переводите.

Егор вылез из окошечка. Он обиделся. Зачем же надо было оставлять работу и смотреть ласково? Егор так только и понимал теперь: девушка, прежде чем зарычать, смотрела на него ласково. К чему, спрашивается, эти разные штучки-дрючки?

— И сразу на арапа берут! — негромко возмутился он. — «Гражданин!..» Какой я вам гражданин? Я вам — товарищ и даже друг и брат.

Девушка опять подняла на него большие серые глаза.

— Работайте, работайте, — сказал Егор. — А то только глазками стрелять туда-сюда!

Девушка хмыкнула и склонилась к бланку.

— Шляпу, главное, надел, — не удержалась и сказала она, не глядя на Егора.

И квиточек отдала, тоже не глядя: положила

на стойку и занялась другим делом. И попробуй отвлеки ее от этого дела.

— Шалашовки, — ругался Егор, выходя с почты. — Вы у меня танец маленьких лебедей будете исполнять. Краковяк!.. — Он зашагал к вокзальному ресторану. — Польку-бабочку! — Егор накалял себя. В глазах появился тот беспокойный блеск, который свидетельствовал, что душа его стронулась и больно толкается в груди. Он прибавил шагу. — Нет, как вам это нравится! Марионетки. Красные шапочки… Я вам устрою тут фигурные катания! Я наэлектризую здесь атмосферу и поселю бардак. — Дальше он и вовсе бессмысленно бормотал, что влетит в голову: — Тарьям-па-пам, та-рьям па-пам!.. Тарьям-папам-папам-папам…

В ресторане он заказал бутылку шампанского и подал юркому человеку, официанту, бумажку в двадцать пять рублей и сказал:

— Спасибо. Сдачи не нужно.

Официант даже растерялся…

— Очень благодарен, очень благодарен…

— Ерунда, — сказал Егор. И показал рукой, чтоб официант присел на минуточку. Официант присел на стул рядом. — Я приехал с золотых приисков, — продолжал Егор, изучая податливого человечка, — и хотел вас спросить: не могли

бы мы здесь где-нибудь организовать маленький бардак?

Официант машинально оглянулся…

— Ну, я грубо выразился… Я волнуюсь, потому что мне деньги жгут ляжку. — Егор вынул из кармана довольно толстую пачку десятирублевок и двадцатипятирублевок. — А? Их же надо пристроить. Как вас зовут, простите?

Официант при виде этой пачки очень обеспокоился, но изо всех сил старался хранить достоинство. Он знал: людям достойным платят больше.

— Сергей Михайлович.

— А? Михайлыч… Нужен праздник. Я долго был на Севере…

— Я, кажется, придумал, — сказал Михайлыч, изобразив сперва, что он внимательно подумал. — Вы где остановились?

— Нигде. Я только приехал.

— По всей вероятности, можно будет сообразить… Что-нибудь, знаете, вроде такого пикничка — в честь прибытия, так сказать.

— Да, да, да, — заволновался Егор. — Такой небольшой бардак. Аккуратненький такой бардельеро… Забег в ширину. Да, Михайлыч? Вы мне что-то с первого взгляда понравились! Я подумал:

вот с кем я взлохмачу мои деньги!

Михайлыч искренне посмеялся.

— А? — спросил Егор. — Чего смеешься?

— О'кей! — весело сказал Михайлыч. — Ми фас понъяль.

Поздно вечером Егор полулежал на плюшевом диване и разговаривал по телефону с Любой. В комнате был еще Михайлыч, и заходила и что-то тихонько спрашивала Михайлыча востроносая женщина с бородавкой на виске.

— Але-е! Любаша!.. — кричал Егор. — Я говорю: я в военкомате! Никак не могу на учет стать! Поздно?.. А здесь допоздна. Да, да. — Егор кивнул Михайлычу. — Да, Любаша!

Михайлыч приоткрыл дверь комнаты, громко хлопнул и громко пошел мимо Егора. И когда был рядом, громко крикнул:

— Товарищ капитан! Можно вас на минуточку?!

Егор кивнул ему головой, мол, хорошо, и продолжал разговаривать. А Михайлыч в это время беззвучно показушно хохотал.

— Любаша, ну что же я могу сделать?! Придется даже ночевать, наверно. Да, да…

Егор долго слушал и «дакал». И улыбался, и смотрел на фальшивого Михайлыча счастливо

и гордо. Даже прикрыл трубку ладошкой и сообщил: — Беспокоюсь, говорит. И жду.

— Жди-жди, дол… — подхватил было угодливый Михайлыч, но Егор взглядом остановил его.

— Да, Любушка!.. Говори, говори: мне нравится слушать твой голосок. Я даже волнуюсь!..

— Ну, дает! — прошептал в притворном восхищении Михайлыч. — Волнуюсь, говорит!.. — И опять засмеялся. Бессовестно он как-то смеялся: сипел, оскалив фиксатые зубы. Егор посулил хорошо заплатить за праздник, поэтому он старался.

— Ночую-то? А вот тут где-нибудь, на диванчике… Да ничего! Ничего, мне не привыкать. Ты за это не беспокойся! Да, дорогуша ты моя!.. Малышкина ты моя милая!.. — У Егора это рванулось так искренне, так душевно, что Михайлыч даже перестал изображать смех. — До свидания, дорогая моя! До свидания, целую тебя… Да я понимаю, понимаю. До свидания.

Егор положил трубку и некоторое время странно смотрел на Михайлыча — смотрел и не видел его. И в эту минуту как будто чья-то ласковая незримая ладонь гладила его по лицу, и лицо Егора потихоньку утрачивало обычную свою жестокость, строптивость.

— Да… — сказал Егор, очнувшись. — Ну что,

трактирная душа? Займемся развратом? Как там?

— Все готово.

— Халат нашли?

— Нашли какой-то… Пришлось к одному старому артисту поехать. Нет ни у кого!

— А ну?

Егор надел длинный халат, стеганый, местами вытертый. Огляделся.

— Больше нигде нету, — оправдывался Михайлыч.

— Хороший халат, — похвалил Егор. — Н-ну… как я велел?

Михайлыч вышел из комнаты.

Егор прилег с сигаретой на диван.

Михайлыч вошел и доложил:

— Народ для разврата собрался!

— Давай, — кивнул Егор.

Михайлыч распахнул дверь… И Егор в халате, чуть склонив голову, стремительно, как Калигула, пошел развратничать.

«Развратничать» собрались диковинные люди: больше пожилые. Были и женщины, но какие-то все на редкость некрасивые, несчастные. Все сидели за богато убранным столом и с недоумением смотрели на Егора. Егор заметно оторопел, но

вида не подал.

— Чего взгрустнули?! — весело и громко сказал Егор. И пошел во главу стола. Остановился и внимательно оглядел всех.

— Да, — не удержался он. — Сегодня мы оторвем от хвоста грудинку. Ну!.. Налили.

— Мил человек, — обратился к нему один из гостей, пожилой, старик почти, — ты объясни нам: чего это мы праздновaем-то! Случай какой… или чего?

Егор некоторое время думал.

— Мы собрались здесь, — негромко, задумчиво, как на похоронах, начал Егор, глядя на бутылки шампанского, — чтобы… — Вдруг он поднял голову и еще раз оглядел всех. И лицо его опять разгладилось от жесткости и напряжения. — Братья и сестры, — проникновенно сказал он, — у меня только что от нежности содрогнулась душа. Я понимаю, вам до фени мои красивые слова, но дайте все же я их скажу. — Егор говорил серьезно, напористо, даже торжественно. Он даже немного прошелся, сколь позволило место, и опять оглядел всех. — Весна… — продолжал он. — Скоро зацветут цветочки. Березы станут зеленые… — Егор чего-то вовсе заволновался и замолчал. Он все еще слышал родной голос Любы, и это путало

и сбивало.

— Троица скоро, чего же, — сказал кто-то за столом.

— Можно идти и идти, — продолжал Егор. — Будет полянка, потом лесок, потом в ложок спустился — там ручеек журчит… Я непонятно говорю? Да потому что я, как фраер, говорю и стыжусь своих же слов! — Егор всерьез на себя рассердился. И стал валить напропалую — зло и громко, как если бы перед ним стояла толпа несогласных. — Вот вы все меня приняли за дурака — взял триста рублей и ни за что выбросил. Но если я сегодня люблю всех подряд! Я сегодня нежный, как самая последняя… как корова, когда она отелится. Пусть пикничка не вышло — не надо! Даже лучше. Но поймите, что я не глупый, не дурак. И если кто подумает, что мне можно наступить на мозоль, потому что я нежный, — я тем не менее не позволю. Люди!.. Давайте любить друг друга! — Егор почти закричал это. И сильно стукнул себя в грудь. — Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Ведь вы же знаете, как легко помирают?! Я не понимаю вас… — Егор прошелся по-за столом. — Не понимаю! Отказываюсь понимать! И себя тоже не понимаю, потому что каждую ночь вижу во сне ларьки и чемоданы.

Все! Идите, воруйте сами… Я сяду на пенек и буду сидеть тридцать лет и три года. Я шучу. Мне жалко вас. И себя тоже жалко. Но если меня кто-нибудь другой пожалеет или сдуру полюбит, я… не знаю, мне будет тяжело и грустно. Мне хорошо, даже сердце болит — но страшно. Мне страшно! Вот штука-то… — неожиданно тихо и доверчиво закончил Егор. Помолчал, опустив голову, потом добро посмотрел на всех и велел: — Взяли в руки по бутылке шампанского… взяли, взяли! Взяли? Откручивайте, там проволочки такие есть, — стреляйте!

Все задвигались, заговорили… Под шум и одобрение захлопали бутылки.

— Наливайте быстрей, пока градус не вышел! — распорядился Егор.

— А-а, правда, — выходит! Давай стакан!.. Подай-ка стакан, кум! Скорей!

— Эх, язви тебя!.. Пролил маленько.

— Пролил?

— Пролил. Жалко — добро такое.

— Да, штука веселая. Гли-ка, прямо кипит, кипит! Как набродило. Видно, долго выдерживают.

— Да уж, конечно! Тут уж, конечно, стараются…

— Ух, а шипит-то!

— Милые мои! — с искренней нежностью и жалостью сказал Егор. — Я рад, что вы задвигались и заулыбались. Что одобряете мое шампанское. Я все больше и больше люблю вас!

На Егора стеснялись открыто смотреть — такую он порол чушь и бестолочь. Затихали, пока он говорил, смотрели на свои стаканы и фужеры.

— Выпили! — сказал Егор.

Выпили.

— С ходу — еще раз! Давай!

Опять задвигались и зашумели. Диковинный случился праздник — дармовой.

— Ух ты, все шипит и шипит!

— Но счас уже поменьше. Уже сила ушла.

— Но вкус какой-то… не пойму.

— Да, какой-то неопределенный.

— А?

— На вид — вроде конской мочи, а вкус какой-то… неясный.

— А чего-то оно в горле останавливается… Ни у кого не останавливается?

— Да, распирает как-то.

— Ага! И в нос бьет! Пей — хорошо!

— А вот градус-то и распирает.

— Да какой тут, к черту, градус — квас. Это газ выходит, а не градус.

— Так, оставили шампанское! — велел Егор. — Взяли в руки коньяк.

— А мы куда торопимся-то?

— Я хочу, чтобы мы песню спели.

— Э-э, это мы сумеем!

— Взяли коньяк!

Взяли коньяк. Тут уж — что велят, то и делай.

— Налили по полстакана. Коньяк помногу сразу не пьют. И если сейчас кто-нибудь заявит, что пахнет клопами, — дам бутылкой по голове. Выпили!

Выпили.

— Песню! — велел Егор.

— Мы же не закусили еще…

— Начинается… — обиженно сказал Егор и сел. — Ну, ешьте, ешьте, все наесться никак не могут. Все бы ели, ели!..

Некоторые — совестливые — отложили вилки, смотрели с недоумением на Егора.

— Да ешьте, ешьте! Чего вы?..

— Ты бы и сам поел тоже, а то захмелеешь.

— Не захмелею. Ешьте.

— Ну, язви тебя-то! — громко возмутился один лысый мужик. — Что же ты, пригласил, а теперь попрекаешь? Я, например, не могу без закуси, я моментально под стол полезу. Мне же неинтерес-

но так. И никому неинтересно, я думаю.

— Ну и ешьте!

А в это время в деревне мать с отцом допрашивали Любу. Ее, бедную, все допрашивали и допрашивали.

— Ну а чего же, военкомат на ночь-то не запирается, что ли? — хотела понять старуха.

Люба и сама терялась в догадках. И верилось ей, и не верилось с этим военкоматом. Но ведь она же сама говорила с Егором, сама слышала его голос, и какие он слова говорил… Она и теперь еще все разговаривала с ним мысленно. «Ну, Егор, с тобой не соскучишься. Что же у тебя на уме, парень?»

— Любк?

— Ну?

— Какой же военкомат? Все на ночь запирается, ты чо!

— Нет, наверно, если он говорит, что ночует там…

— Да он наговорит, только развесь уши.

— Я думаю так, — решил старик, — ему сказали: явиться завтра к восьми часам. Точь-в-точь — там люди военные. И он подумал, что лучше уж заночевать, чем утром опять переться туда.

— Да он же и говорит! — обрадовалась Люба, — Ночую, говорит, здесь на диване…

— Да все учериждения на ночь запираются! — стояла на своем старуха. — Вы чо? Как это его там одного на ночь оставют? А он возьмет да печать украдет…

— Ну, мама!..

И старик тоже скосоротился на такую глупость.

— На кой она ему черт нужна, печать?

— Да я к слову говорю! Сразу «мама»! Слова не дадут сказать.

Егор налаживал хор из «развратников».

— Мы с тобой будем заводить, — тормошил он лысого мужика, — а вы, как я махну, будете петь «бом-бом». Пошли:

Вечерний зво-он,

Вечерний зво-он…

Егор махнул, но группа «бом-бом» не поняла.

— Ну, чего вы?! Я же сказал: как махну, так «бом-бом».

— Дак ты махнул, а сам поешь…

— Наступай! Я от того и завыл, что вроде слышу, как на колокольне бьют. Тоска меня берет по родине… И я запел потихоньку. А вы свое: «бом-м, бом-м». Вы и знать не знаете, как я здесь тоскую, — это не ваше дело.

— Вроде в тюрьме человек сидит — тоскует, — подсказал Михайлыч. — Или в плену где-нибудь.

— В плену какие церкви? — возразили на это.

— Как же? У них же там тоже церкви есть. Не такие, конечно, но все одно — церква, с колоколом. Верно же, Георгий?

— Да пошли вы!.. Только болтать умеете, — вконец рассердился Егор. — Во-от начнут говорить! И говорят, и говорят… Чего вы так слова любите? Что за понос такой словесный?!

— Ну, давай. Ты не расстраивайся.

— Да как же не расстраиваться? Говоришь вам, а вы… Ну, пошли:

Вечерний зво-он,

Вечерний зво-он…

— Бо-м, бо-ом, бо-о-ом… — вразнобой «забили на колокольне», все спутали и погубили.

Егор махнул рукой и ушел в другую комнату. На пороге остановился и сказал безнадежно:

— Валяйте любую. Не обижайтесь, но я больше не могу с вами. Гуляйте. Можете свой родной «камыш» затянуть.

Группа «бом-бом», да все, кто тут был, растерянно помолчали… Но вина и всевозможной редкой закуски за столом было много, поэтому хоть и

погоревали, но так, больше для очистки совести.

— Чего он?

— А вы уже тоже — «бом-бом» не могли спеть! — упрекнул всех Михайлыч. — Чего там петь-то!

— Да разнобой вышел…

— Это Кирилл вон… Куда зачастил?

— Кто зачастил? — оскорбился Кирилл. — Я пел нормально — как вроде в колокол бьют. Я же понимаю, что там не надо частить. Колокол, его еще раскачать надо.

— А кто зачастил?

— Да ладно, чего теперь? Давайте, правда, — он же велел гулять.

— Оно, конечно, того… вроде не заслужили, но с другой стороны, а если я не пою? Какого я хрена буду рот разевать, если у меня сроду голоса не было?

Егор, недовольный, полулежал на диване, когда вошел Михайлыч.

— Георгий, ты уж прости — не вышло у нас… с колоколами-то.

Егор помолчал… И капризно спросил:

— А почему они все такие некрасивые?

Михайлыч даже растерялся.

— Дак это… Георгий, красивые-то все — семейные, замужем. А я одиноких собрал, ты же сам

велел.

Егор еще некоторое время сидел. И лицо его стало опять светлеть. Похоже, встрепенулась, вспомнилась в душе его какая-то радость.

— Ты можешь такси вызвать?

— Могу.

— До Ясного. Я заплачу, сколько он хочет. Звони! — Егор встал, сбросил халат, надел пиджак и поправил галстук.

— А зачем в Ясное-то?

— У меня там друг. — И опять стал взволнованно ходить. — Душа у меня… наскипидаренная какая-то, Михайлыч. Заведет она меня куда-нибудь. Как волю почует, так места себе не могу найти. Звони, звони! Сколько ты собрал людей?

— Пятнадцать. С нами — семнадцать. А что?

— Вот тебе две сотни. Всем дать по червонцу, себе остальные. Не обмани! Я заеду узнаю.

— Да что ты, Георгий!..

И вот Георгий летел светлой лунной ночью по доброму большаку — в село, к Любе.

«Ну, что это, что это? — пытал себя Егор. — Что это я?» Беспокойство и волнение овладели им. Он уже забыл, когда он так волновался из-за юбки.

— Ну, как там… насчет семейной жизни? — спросил он таксиста. — Что пишут новенького?

— Где пишут? — не понял тот.

— Да вообще — в книгах…

— В книгах-то понапишут, — недовольно сказал таксист. — В книгах все хорошо.

— А в жизни?

— А в жизни… Что, сам не знаешь, как в жизни?

— Плохо, да?

— Кому как.

— Ну, тебе, например?

Таксист пожал плечами — очень похоже, как тот парень который продал Егору магнитофон.

— Да что вы все какие-то!.. Ну, братцы, не понимаю вас. Чего вы такие кислые-то все? — изумился Егор.

— А чего мне тут — хихикать с тобой? Ублажать, что ли, тебя?

— Да где уж ублажать! Ублажать — это ты свою бабу ублажай. И то ведь — суметь еще надо. А то полезешь к ней, а она скажет: «Отойди, от тебя козлом пахнет».

Таксист засмеялся.

— Что, тебе говорили так?

— Нет, я сам не люблю, когда козлом пахнет. Давай-ка маленько опустим стекло.

Таксист глянул на Егора, но смолчал.

А Егор опять вернулся к своим мыслям, которые он никак не мог собрать воедино, — все в голове спуталось из-за этой Любы.

Подъехали к большому темному дому. Егор отпустил машину. И вдруг оробел. Стоял с бутылками коньяка у ворот и не знал, что делать. Обошел дом, зашел в другие ворота — в ограду Петра, поднялся на крыльцо, постучал ногой в дверь. Долго было тихо, потом скрипнула избяная дверь, легко — босиком — прошли по сеням, и голос Петра спросил:

— Кто там?

— Я, Петро. Георгий, Жоржик…

Дверь открылась.

— Ты чего? — удивился Петро. — Выгнали, что ли?

— Да нет… Не хочу будить. Ты когда-нибудь «Рэми-Мартин» пил?

Петро долго молчал, всматривался в лицо Егора.

— Чего?

— «Рэми-Мартин». Двадцать рублей бутылка. Пойдем врежем в бане?

— Пошто в бане-то?

— Чтоб не мешать никому.

— Да пойдем на кухне сядем…

— Не надо! Не буди никого.

— Ну, дай я хоть обуюсь… Да закусить вынесу чего-нибудь.

— Не надо! У меня полные карманы шоколада, я весь уже провонял им, как студентка.

В бане, в тесном черном мире, лежало на полу — от окошечка — пятно света. И зажгли еще фонарь, сели к окошечку.

— Чего домой-то не пошел? — не понимал Петро.

— Не знаю. Видишь, Петро… — заговорил было Егор, но и замолк. Открыл бутылку, поставил на подоконник. — Видишь — коньяк. Двадцать рублей, гад! Это ж надо!

Петро достал из кармана старых галифе два стакана.

Помолчали.

— Не знаю я, что говорить, Петро. Сам не все понимаю.

— Ну, не говори. Наливай своего дорогого… Я в войну пил тоже какой-то. В Германии. Клопами пахнет.

— Да не пахнет он клопами! — воскликнул Егор. — Это клопы коньяком пахнут. Откуда взяли, что он клопами-то пахнет?

— Дорогой, может, и не пахнет. А такой… нор-

мальный пахнет.

Ночь истекала. А луна все сияла. Вся деревня была залита бледным, зеленовато-мертвым светом. И тихо-тихо. Ни собака нигде не залает, ни ворота не скрипнут. Такая тишина в деревне бывает перед рассветом. Или в степи еще — тоже перед рассветом, когда в низинках незримо скапливается туман и сырость. Зябко и тихо.

И вдруг в тишине этой из бани донеслось:

Сижу за решеткой

В темнице сырой… —

завел первым Егор. Петро поддержал. И так неожиданно красиво у них вышло, так — до слез — складно и грустно:

Вскормленный в неволе орел молодой;

Мой грустны-ый товарищ, махая крыло-ом,

Кровавую пищу клюет под окном…

Рано утром Егор провожал Любу на ферму. Так — увязался с ней и пошел. Был он опять в нарядном костюме, в шляпе и при галстуке. Но какой-то задумчивый. Люба очень радовалась, что он по-

шел с ней, — у нее было светлое настроение. И утро было хорошее — с прохладцей, ясное. Весна все-таки, как ни крутись.

— Чего загрустил, Егорша? — спросила Люба.

— Так… — неопределенно сказал Егор.

— В баню зачем-то поперлись. — Люба засмеялась. — И не боятся ведь! Меня сроду туда ночью не загонишь. Егор удивился:

— Чего?

— Да там же черти! В бане-то… Они там и водются.

Егор с изумлением и ласково посмотрел на Любу… И погладил ее по спине. У него это нечаянно вышло.

— Правильно: никогда не ходи ночью в баню. А то эти черти… Я их знаю!

— Когда ты ночью на машине подъехал, я слышала. Я думала, это мой Коленька преподобный приехал…

— Какой Коленька?

— Да муж-то мой.

— А-а. А он что, приезжает иногда?

— Приезжает, как же.

— Ну? А ты что?

— Ухожу в горницу и запираюсь там. И сижу. Он трезвый-то ни разу и не приезжал, а я его

пьяного прямо видеть не могу: он какой-то дурак вовсе делается. Противно, меня трясти начинает.

Егор встрепенулся, заслышав живые, гневные слова. Не выносил он в людях унылость, вялость ползучую. Оттого, может, и завела его житейская дорога так далеко вбок, что всегда, и смолоду, тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой линией, но резко, определенно.

— Да-да-да, — притворно посочувствовал Егор, — прямо беда с этими алкашами!

— Беда! — подхватила простодушная Люба. — Да беда-то какая. Горькая: слезы да ругань.

— Прямо трагедия. О-е!.. — удивился Егор. — Коров-то сколько!

— Ферма… Вот тут я и работаю.

Егор чего-то вдруг остолбенел при виде коров.

— Вот они… коровы-то, — повторял он. — Вишь, тебя увидели, да? Заволновались. Ишь, смотрют… — Егор помолчал… И вдруг, не желая этого, проговорился: — Я из всего детства мать помню да корову. Манькой звали корову. Мы ее весной, в апреле, выпустили из ограды, чтобы она сама пособирала на улице. Знаешь: зимой возют, а весной из-под снега вытаивает, на дорогах, на плетнях остается… Вот… А ей кто-то брюхо вилами проколол. Зашла к кому-нибудь в ограду,

у некоторых сено было еще… Прокололи. Кишки домой приволокла.

Люба смотрела на Егора, пораженная этим незамысловатым рассказом. А Егор — видно было — жалел, что он у него вырвался, этот рассказ, был недоволен.

— Чего смотришь?

— Егорша…

— Брось, — сказал Егор. — Это же слова. Слова ничего не стоят.

— Ты что, выдумал, что ли?

— Да почему!.. Но ты меньше слушай людей. То есть слушай, но слова пропускай. А то ты доверчивая, как… — Егор посмотрел на Любу и опять ласково и бережно и чуть стесняясь погладил ее по спине. — Неужели тебя никогда не обманывали?

— Нет… Кому?

— М-гм… — Егор засмотрелся в ясные глаза женщины, усмехнулся. — Кошмар. — Все время хотелось трогать ее. И смотреть.

— Глянь-ка, директор совхоза идет, — сказала Люба. — У нас был. — Она оживилась и заулыбалась, сама не зная чего.

К ним шел гладкий, крепкий, довольно молодой еще мужчина, наверно, таких же лет, как

Егор. Шел он твердой хозяйской похожей, с любопытством смотрел на Любу и на ее — непонятно кого — мужа, знакомого?

— Чего ты так уж разулыбалась? — неприятно поразился Егор.

— Он хороший у нас. Хозяйственный. Мы его уважаем. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Что, у нас были?

— Был у вас. Здравствуйте! — Директор крепко тряхнул руку Егора. — Что, не пополнение ли к нам?

— Дмитрий Владимирович, он — шофер, — не без гордости сказала Люба.

— Да ну? Хорошо. Прямо сейчас могу за руль посадить? Права есть?

— У него еще паспорта нету… — Гордость Любина угасла.

— А-а. А то поехали со мной. Моего зачем-то в военкомат вызывают. Боюсь, надолго.

— Егор! — заволновалась Люба. — А? Район наш увидишь. Поглянется!

И это живое волнение, и слова эти нелепые — про район — подтолкнули Егора на то, над чем он пять минут назад искренне бы посмеялся.

— Поехали, — сказал он.

И они пошли с директором.

— Егор! — крикнула вслед Люба. — Пообедаешь в чайной где-нибудь! Где будете… Дмитрий Владимирович, вы ему подскажите, а то он не знает еще!

Дмитрий Владимирович посмеялся.

Егор оглянулся на Любу и некоторое время смотрел на нее. Потом повернулся и пошел за директором. Тот подождал его.

— Сам из каких мест? — спросил директор.

— Я-то? Я здешний. Из вашего района, деревня Листвянка.

— Листвянка? У нас нет такой.

— Как нет? Есть.

— Да нету! Я-то знаю свой район.

— Странно… Куда же она девалась? — Егору не понравился директор: довольный, гладкий… Но особенно не по нутру, что довольный. Егор не переваривал довольных людей. — Была деревня Листвянка, я хорошо помню.

Директор внимательно посмотрел на Егора.

— М-да, — сказал он. — Наверно, сгорела.

— Наверно, сгорела. Жалко — хорошая была деревня.

— Ну, так поедешь со мной?

— Поеду. Мы же и собрались ехать. Правильно я вас понял?

И поехали они по просторам совхоза-гиганта, совхоза-миллионера.

— Чего так со мной заговорил-то? — спросил директор.

— Как?

— Ну… как: Ванькой сразу прикинулся. Зачем?

— Да не люблю, когда с биографии сразу начинают. Биография — это слова, ее всегда можно выдумать.

— Ну-у, как же так? Как это можно биографию выдумать?

— Как? Так… Документов у меня никаких нету, кроме одной справки, никто меня тут не знает — чего хочу, то и наговорю. Если хотите знать, я сын прокурора.

Директор посмеялся. Егор ему тоже не понравился: какой-то бессмысленно строптивый.

— А что? Вон я какой — в шляпе, при галстуке… — Егор посмотрел в зеркальце. — Чем не прокурорский сын?

— Я же не спрашиваю с тебя никаких документов. Без прав даже едем. Напоремся вот на участкового — что делать?

— Вы — хозяин.

Подъехали к пасеке. Директор легко выпрыгнул из машины.

— У меня тут дельце одно. А то, хошь, пойдем со мной — старик медом угостит.

— Нет, спасибо. — Егор тоже вышел на волю. — Я вот тут… пейзажем полюбуюсь.

— Ну, смотри. — И директор ушел.

А Егор стал любоваться пейзажем. Посмотрел вокруг. Подошел к березке, потрогал ее.

— Что? Начинаешь слегка зеленеть? Скоро уж, скоро… Оденешься. Надоело голой-то стоять? Ишь ты какая… Скоро нарядная будешь.

Из избушки вышел дед-пасечник.

— А что не зайдешь-то? — крикнул Егору с крыльца. — Иди чайку стакан выпей!

— Спасибо, батя! Не хочу.

— Ну, гляди. — И дед ушел.

Вскоре вышел и директор. Дед провожал его.

— Заезжайте почаще, — приветливо говорил дед. — Чай, по дороге. То и дело ездите туг.

— Спасибо, отец, спасибо. Поехали.

Поехали.

— Вот… — сказал директор, устраивая какой-то сверточек между сиденьями. — Есть вещество такое — прополис, пчелиный клей, иначе.

— Язву желудка лечит?

— Да. Что, болел? — повернулся директор.

— Нет, слыхал просто.

— Да. Вот один человек заболел, надо помочь: хороший человек.

— Говорят, здорово помогает.

— Да, говорят, помогает.

Впереди показалась деревня.

— Меня ссадишь у клуба, — сказал директор, — а сам съездишь в Сосновку — здесь, семь километров: привезешь бригадира Савельева. Если нет дома, спроси, где он, найди.

Егор кивнул.

Ссадил у клуба директора и уехал.

К клубу сходились мужики, женщины, парни, девушки. И люди пожилые тоже подходили. Готовилось какое-то собрание. Директора окружили, он что-то говорил и был опять очень уверен и доволен.

Молодые люди отбились в сторонку, и там тоже шел оживленный разговор. Часто смеялись.

Старики курили у штакетника.

На фасаде клуба висели большие плакаты. Все походило на праздник, к которому люди привыкли.

Клуб был новый, недавно выстроенный: возле фундамента еще лежала груда кирпичей и стоял старый кузов самосвала с застывшим цементом.

Егор привез бригадира Савельева и пошел ис-

кать директора. Ему сказали, что директор уже в клубе, на сцене, за столом президиума.

Егор прошел через зал, где рассаживались рабочие совхоза, поднялся на сцену и подошел сзади к директору.

Директор разговаривал с каким-то широкоплечим человеком, тряс бумажкой. Егор тронул его за рукав.

— Владимирыч…

— А? А-а. Привез? Хорошо, иди.

— Нет… — Егор позвал директора в сторонку и, когда они отошли, где их не могли слышать, сказал: — Вы сами умеете на машине?

— Умею. А что такое?

— Я больше не могу. Доехайте сами — не могу больше. И ничего мне с собой не поделать, я знаю.

— Да что такое? Заболел, что ли?

— Не могу возить. Я согласен: я дурак, несознательный, отсталый… Зэк несчастный, но не могу. У меня такое ощущение, что я вроде все время вам улыбаюсь. Я лучше буду на самосвале. На тракторе! Ладно? Не обижайся. Ты мужик хороший, но… Вот мне уже сейчас плохо — я пойду.

И Егор быстро пошел вон со сцены. И пока шел через зал, терзался, что наговорил директору

много слов. Тараторил, как… Извинялся, что ли? А что извиняться-то? Не могу — и все. Нет, пошел объяснять, пошел выкладываться, несознательность свою пялить… Тьфу! Горько было Егору. Так помаленьку и угодником станешь. Пойдешь в глаза заглядывать… Тьфу! Нет, очень это горько.

А директор, пока Егор шел через зал, смотрел вслед ему — он не все понял, то есть он ничего не понял.

Егор шел обратно перелеском.

Вышел на полянку, прошел полянку — опять начался лесок, погуще, покрепче.

Потом он спустился в ложок — там ручеек журчит. Егор остановился над ним.

— Ну надо же! — сказал он.

Постоял-постоял, перепрыгнул ручеек, взошел на пригорок…

А там открылась глазам березовая рощица, целая большая семья выбежала навстречу и остановилась.

— Ух ты!.. — сказал Егор.

И вошел в рощицу.

Походил среди березок… Снял с себя галстук, надел одной — особенно красивой, особенно белой и стройной. Потом увидел рядом высокий пенек, надел на него свою шляпу. Отошел и по-

любовался со стороны.

— Ка-кие — фраера! — сказал он. И пошел дальше. И долго еще оглядывался на эту нарядную парочку. И улыбался. На душе сделалось легче.

Дома Егор ходил из угла в угол, что-то обдумывая. Курил. Время от времени принимался вдруг напевать: «Зачем вы, девушки, красивых любите?» Бросал петь, останавливался, некоторое время смотрел в окно или в стенку… И снова ходил. Им опять овладело какое-то нетерпение. Как будто он на что-то такое решался и никак не мог решиться. И опять решался. И опять не мог… Он нервничал.

— Не переживай, Егор, — сказал дед. Он тоже похаживал по комнате — к двери и обратно, сучил из суровых ниток леску на перемет, которая была привязана к дверной скобке, и дед обшаркивал ее старой рукавицей. — Трактористом не хуже. Даже ишо лучше. Они вон по сколь счас выгоняют!

— Да я не переживаю.

— Сплету вот переметы… Вода маленько посветлеет, пойдем с тобой переметы ставить — милое дело. Люблю.

— Да… Я тоже. Прямо обожаю переметы ставить.

— И я. Другие есть — больше предпочитают сеть. Но сеть — это… поймать могут, раз; второе: ты с ей намучаешься, с окаянной, пока ее разберешь да выкидаешь — время-то сколько надо!

— Да… Попробуй покидай ее. «Зачем вы, девушки…» А Люба скоро придет?

Дед глянул на часы.

— Скоро должна придтить. Счас уж сдают молоко. Счас сдадут — и придет. Ты ее, Егор, не обижай: она у нас — последыш, а последышка жальчее всех. Вот пойдут детишки у самого — спомнишь мои слова. Она хорошая девка, добрая, только все как-то не везет ей… Этого пьянчужку нанесло — насилу отбрыкались.

— Да, да… С этими алкашами беда прямо! Я вот тоже… это смотрю — прямо всех пересажал бы чертей. В тюрьму! По пять лет каждому. А?

— Ну, в тюрьму зачем? Но на годок куда-нибудь, — оживился дед, — под строгай изолятор — я бы их столкал! Всех, в кучу!

— А Петро скоро приедет?

— Петро-то? Счас тоже должен приехать… Пущай посидят и подумают.

— Сидеть — это каждый согласится. Нет, пусть поработают! — подбросил жару Егор.

— Да, правильно: лес вон валить!

— В шахты! В лес — это… на чистом-то воздухе дурак согласится работать. Нет, в шахты! В рудники! В скважины!

Тут вошла Люба.

— Вот те раз! — удивилась она. — Я думала, они только ночью приедут, а он уж дома.

— Он не стал возить директора, — сказал дед. — Ты его не ругай — он объяснил почему: его тошнит на легковушке.

— Пойдем-ка на пару слов, Люба, — позвал Егор. И увел ее в горницу. На что-то он, похоже, решился.

В это время въехал в ограду Петро на своем самосвале, и Егор пошел к нему. Он так и не успел сказать Любе, что его растревожило.

Люба видела, как они о чем-то довольно долго говорили с Петром, потом Егор махнул ей рукой, и она скоро пошла к нему. Егор полез в кабину самосвала, за руль.

— Далеко ли? — спросил дед, который тоже видел из окна, что Петро дал машину, а Егор и Люба собрались куда-то ехать.

— Да я сама толком не знаю… Егору куда-то надо, — успела сказать Люба на ходу.

— Любка!.. — хотел что-то еще сказать дед, но Люба хлопнула уже дверью.

— Чего он такое затеял, этот Жоржик? — вслух подумал дед. — Это что за жизнь такая чертова пошла — вот и опасайся ходи, вот и узнавай бегай…

И он скоренько тоже пошел на половину сына — спросить, куда это Егор повез дочь, вообще, куда они поехали?

— Есть деревня Сосновка, — объяснял Егор Любе в машине, когда уже ехали, — девятнадцать километров отсюда…

— Знаю Сосновку.

— Там живет старушка по кличке Куделиха. Она живет с дочерью, но дочь лежит в больнице.

— Где это ты узнал-то все?

— Ну, узнал… я был сегодня в Сосновке. Дело не в этом. Меня один товарищ просил попроведать эту старуху, про детей ее расспросить — где они, живы ли?

— А зачем ему — товарищу-то?

— Ну… Родня она ему какая-то, тетка, что ли. Но мы сделаем так: подъедем, ты зайдешь… Нет, зайдем вместе, но расспрашивать будешь ты.

— Почему?

— Ты дай объяснить-то, потом уж спрашивай! — повысил голос Егор. Нет, он, конечно, нервничал.

— Ну-ну! Ты только на меня не кричи, Егор, ладно? Больше не спрашиваю. Ну?

— Потому что, если она увидит, что расспрашивает мужик, то она догадается, что, значит, он сидел с ее сы… это, с племянником. Ну, и сама кинется выспрашивать. А товарищ мне наказал, чтоб я не говорил, что он в тюрьме… Фу-у! Дошел. Язык сломать можно. Поняла хоть?

— Поняла. А под каким предлогом я ее расспрашивать-то возьмусь?

— Надо что-то выдумать. Например, ты из сельсовета… Нет, не из сельсовета, а из рай… этого, как его, пенсии-то намеряют?

— Райсобес?

— Райсобес, да. Из райсобеса, мол, проверяют условия жизни престарелых людей. Расспроси, где дети, пишут ли? Поняла?

— Поняла. Все сделаю, как надо.

— Не говори «гоп»…

— Вот увидишь.

Дальше Егор замолчал. Был он непривычно серьезен и сосредоточен. Через силу улыбнулся и сказал:

— Не обижайся, Люба, я помолчу. Ладно?

Люба тронула ладонью его руку.

— Молчи, молчи. Делай как знаешь, не спра-

шиваю.

— А что закричал… прости, — еще сказал Егор. — Я сам не люблю, когда кричат.

Егор добро разогнал самосвал. Дорога шла обочиной леса, под колеса попадали оголенные коренья, кочки, самосвал прыгал. Люба, когда ее подкидывало, хваталась за ручку дверцы. Егор смотрел вперед — рот плотно сжат, глаза чуть прищурены.

Просторная изба. Русская печь, лавки, сосновый пол, мытый, скобленый и снова мытый. Простой стол с крашеной столешницей. В красном углу — Николай-угодник.

Старушка Куделиха долго подслеповато присматривалась к Любе, к Егору… Егор был в темных очках.

— Чего же, сынок, глаза-то прикрыл? — спросила она. — Рази через их видать?

Егор на это неопределенно пожал плечами. Ничего не сказал.

— Вот мне велели, бабушка, разузнать все, — сказала Люба.

Куделиха села на лавочку, сложила сухие коричневые руки на переднике.

— Дак а чего узнавать-то? Мне плотют двадцать рублей… — Она снизу, просто посмотрела на Лю-

бу. — Чего же еще?

— А дети где ваши? У вас сколько было?

— Шестеро, милая, шестеро. Одна вот теперь со мной живет, Нюра, а трое в городах… Коля в Новосибирске на паровозе работает, Миша тоже там же, он дома строит, а Вера на Дальнем Востоке, замуж там вышла, военный муж-то. Фотокарточку недавно прислали — всей семьей, внучатки уж большенькие, двое: мальчик и девочка.

Старуха замолчала, отерла рот краешком передника, покивала маленькой птичьей головой, вздохнула. Она тоже умела уходить в мыслях далеко — и ушла, перестала замечать гостей. Потом очнулась, посмотрела на Любу, сказала — так, чтоб не молчать, а то неловко молчать, о ней же и заботятся:

— Вот… Живут. — И опять замолчала.

Егор сидел на стуле у порога. Он как-то окаменел на этом стуле, ни разу не шевельнулся, пока старуха говорила, смотрел на нее.

— А еще двое? — спросила Люба.

— А вот их-то… я и не знаю: живые они, сердешные душеньки, или нету их давно.

Старушка опять закивала сухой головой, хотела, видно, скрепиться и не заплакать, но слезы закапали ей на руки, и она поспешно вытерла

глаза фартуком.

— Не знаю. В голод разошлись по миру… Теперь не знаю. Два сына ишо, два братца… Про этих не знаю.

Зависла в избе тяжелая тишина… Люба не могла придумать, что еще спрашивать, — ей было жалко бабушку. Она глянула на Егора… Тот сидел изваянием и все смотрел на Куделиху. И лицо его под очками тоже как-то вполне окаменело. Любе и вовсе не по себе стало.

— Ладно, бабушка… — Она вдруг забылась, что она из «райсобеса», подошла к старушке, села рядом, умело как-то — естественно, просто — обняла ее и приголубила. — Погоди-ка, милая, погоди — не плачь, не надо: глядишь, еще и найдутся. Надо же и поискать!

Старушка послушно вытерла слезы, еще покивала головой.

— Может, найдутся… Спасибо тебе. Сама-то не из крестьян? Простецкая-то.

— Из крестьян, откуда же. Поискать надо сынов-то…

Егор встал и вышел из избы.

Медленно прошел по сеням. Остановился около уличной двери, погладил косяк — гладкий, холодный. И прислонился лбом к этому косяку, и

замер. Долго стоял так, сжимая рукой косяк, так что рука побелела. Господи, хоть бы еще уметь плакать в этой жизни — все немного легче было бы. Но ни слезинки же ни разу не выкатилось из его глаз, только каменели скулы и пальцы до отека сжимали что-нибудь, что оказывалось под рукой. И ничего больше, что помогло бы в тяжкую минуту: ни табак, ни водка — ничто, все противно. Откровенно болела душа, мучительно ныла, точно жгли ее там медленным огнем. И еще только твердил в уме, как молитву: «Ну, будет уж! Будет!»

Егор заслышал в избе шаги Любы, откачнулся от косяка, спустился с низкого крылечка. Скорым шагом пошел по ограде, оглядываясь на избу. Был он опять сосредоточен, задумчив. Походил вокруг машины, попинал баллоны… Снял очки, стал смотреть на избу.

Вышла Люба.

— Господи, до чего же жалко ее стало! — сказала она. — Прямо сердце заломило.

— Поехали, — велел Егор.

Развернулись… Егор последний раз глянул на избу и погнал машину.

Молчали. Люба думала о старухе, тоже взгрустнула.

Выехали за деревню.

Егор остановил машину, лег головой на руль и крепко зажмурил глаза.

— Чего, Егор? — испугалась Люба.

— Погоди… постоим… — осевшим голосом сказал Егор. — Тоже, знаешь… сердце заломило. Мать это, Люба. Моя мать.

Люба тихо ахнула:

— Да что же ты, Егор? Как же ты?..

— Не время, — почти зло сказал Егор. — Дай время… Скоро уж. Скоро.

— Да какое время, ты что! Развернемся!

— Рано! — крикнул Егор. — Дай хоть волосы отрастут… Хоть на человека похожим стану. — Егор включил скорость. — Я перевел ей деньги, — еще сказал он, — но боюсь, как бы она с ними в сельсовет не поперлась — от кого, спросит. Еще не возьмет. Прошу тебя, съезди завтра к ней опять и… скажи что-нибудь. Придумай что-нибудь. Мне пока… Не могу пока — сердце лопнет. Не могу. Понимаешь?

— Останови-ка, — велела Люба.

— Зачем?

— Останови.

Егор остановил.

Люба обняла его, как обняла давеча старуху, —

ласково, умело, — прижала к груди его голову.

— Господи!.. Да почему вы такие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?.. — Она заплакала. — Что мне с вами делать-то?

Егор освободился из ее объятий, крякнул несколько раз, чтобы прошел комок в горле, включил скорость и с веселым остервенением сказал:

— Ничего, Любаша!.. Все будет в порядке! Голову свою покладу, но вы у меня будете жить хорошо. Я зря не говорю.

Дома их в ограде встретил Петро.

— Волнуется, видно. За машину-то, — догадалась Люба.

— Да ну, что я? Я же сказал…

Люба с Егором вылезли из кабины, и Петро подошел к ним.

— Там этот пришел… твой, — сказал он по своей привычке как бы нехотя, через усилие.

— Колька? — неприятно удивилась Люба. — Вот гад-то! Что ему надо-то? Замучил, замучил, слюнтяй!..

— Ну, я пойду познакомлюсь, — сказал Егор. И глянул на Петра. Петро чуть заметно кивнул головой.

— Егор!.. — всполошилась Люба. — Он же пья-

ный небось — драться кинется. Не ходи, Егор! — И Люба сделала было движение за Егором, но Петро придержал ее.

— Не бойся, — сказал он. — Егор…

Егор обернулся.

— Там еще трое дожидаются — за плетнем. Знай.

Егор кивнул и пошел в дом.

Люба теперь уже силой хотела вырваться, но брат держал крепко.

— Да они же изобьют его! — чуть не плакала Люба. — Ты что? Ну, Петро!..

— Кого изобьют? — спокойно басил Петро. — Жоржика? Его избить трудно. Пускай поговорят… И больше твой Коля не будет ходить сюда. Пусть поймет раз и навсегда.

— А-а, — сказал Коля, растянув в насильственной улыбке рот. — Новый хозяин пришел. — Он встал с лавки. — А я — старый. — Он пошел на Егора. — Надо бы потолковать… — Он остановился перед Егором. — Мм?

Коля был не столько пьян, сколько с перепоя. Высокий парень, довольно приятной наружности, с голубыми умными глазами.

Старики со страхом смотрели на «хозяев» — старого и нового.

Егор решил не тянуть, сразу лапнул Колю за шкирку и поволок из избы…

Вывел с трудом на крыльцо и подтолкнул вниз.

Коля упал. Он не ждал, что они так сразу и начнут.

— Если ты, падали кусок, будешь еще… Ты был здесь последний раз, — сказал Егор сверху. И стал спускаться.

Коля вскочил с земли… И засуетился.

— Пойдем отсюда! Иди за мной… Идем, идем. Ну, собака!.. Иди, иди-и!..

Они шли уже из ограды. Егор шел впереди, а Коля сзади. Коля очень суетился, разок даже подтолкнул Егора в спину. Егор оглянулся и укоризненно качнул головой.

— Иди, иди-и, — с дрожью в голосе повторял Коля.

Поднялись навстречу те трое, о которых говорил Петро.

— Только не здесь, — решительно сказал Егор. — Пошли дальше!

Пошли дальше. Егор опять очутился впереди всех.

— Слушайте, — остановился он, — идите рядом, а то как на расстрел ведут. Люди же смотрят.

— Иди, иди-и, — опять сказал Коля. Он едва сдерживал себя.

Еще прошли немного.

Под высоким плетнем, где их меньше было видно с улицы, Коля не выдержал и прыгнул сзади на Егора. Егор качнулся вбок и подставил Коле ногу. Коля опять позорно упал. Но еще один кинулся, этого Егор ударил наотмашь — кулаком в живот. И этот сел. Двое стоявших оторопели от такого оборота дела. Зато Коля вскочил и побежал к плетню выламывать кол.

— Ну, собака!.. — задыхался Коля от злости. Выломил кол и страшно ринулся на Егора.

Сколько уж раз на деле убеждался Егор, что все же человек никогда до конца не забывается — всегда, даже в страшно короткое время, успеет подумать: что будет? И если убивают, то хотели убить. Нечаянно убивают редко.

Егор стоял, сунув руки в карманы брюк, смотрел на Колю. Коля наткнулся на его спокойный — как-то по-особому спокойный, зловеще спокойный — взгляд.

— Не успеешь махнуть, — сказал Егор. Помолчал и добавил участливо: — Коля.

— А чего ты тут угрожаешь-то?! Чего ты угрожаешь-то?! — попытался еще надавить Коля. — С

ножом, что ли? Ну, вынимай свой нож, вынимай!

— Пить надо меньше, дурачок, — участливо сказал Егор. — Кол-то выломил, а у самого руки трясутся. Больше в этот дом не ходи.

Егор повернулся и пошел обратно. Слышал, как сзади кто-то двинулся было за ним, — наверно Коля, — но его остановили:

— Да брось ты его! Дерьма-то еще. Фраер городской. Мы его где-нибудь в другом месте прищучим.

Егор не остановился, не оглянулся.

Первую борозду в своей жизни проложил Егор.

Остановил трактор, спрыгнул на землю, прошелся по широкой борозде, сам себе удивляясь: неужели это его работа. Пнул сапогом ком земли, хмыкнул:

— Ну и ну… Жоржик. Это ж надо! Ты же так ударником будешь!

Он оглянулся по степи, вдохнул весенний земляной дух и на минуту прикрыл глаза. Постоял так.

Парнишкой он любил слушать, как гудят телеграфные столбы. Прижмется ухом к столбу, закроет глаза и слушает… Волнующее чувство. Егор всегда это чувство помнил: как будто это

нездешний какой-то гул, не на земле гудит, а черт знает где. Если покрепче зажмуриться и целиком вникнуть в этот мощный утробный звук, то он перейдет в тебя — где-то загудит внутри, в голове, что ли, или в груди — не поймешь. Жутко бывало, но интересно. Странно, ведь вот была же длинная, вон какая разная жизнь, а хорошо помнилось только вот это немногое: корова Манька, да как с матерью носили на себе березки, чтобы истопить печь. Эти-то дорогие воспоминания и жили в нем, и, когда бывало вовсе тяжко, он вспоминал далекую свою деревеньку, березовый лес на берегу реки, саму реку… Легче не становилось, только глубоко жаль было всего этого и грустно, и по-иному щемило сердце — и дорого, и больно. И теперь, когда от пашни веяло таким покоем, когда голову грело солнышко и можно остановить свой постоянный бег по земле, Егор не понимал, как это будет — что он остановится, обретет покой. Разве это можно? Жило в душе предчувствие, что это будет, наверно, короткая пора.

Егор еще раз оглядел степь. Вот этого и будет жаль. «Да что же я за урод такой! — невольно подумал он. — Что я жить-то не умею? К чертям собачьим! Надо жить. Хорошо же? Хорошо. Ну и радуйся». Егор глубоко вздохнул.

— Сто сорок лет можно жить… с таким воздухом, — сказал он. И теперь только увидел на краю поля березовый колок и пошел к нему.

— Ох, вы мои хорошие!.. И стоят себе: прижухлись с краешку и стоят. Ну, что дождались? Зазеленели… — Он ласково потрогал березку. — Ох, ох нарядились-то! Ах, невестушки вы мои, нарядились. И молчат стоят. Хоть бы крикнули, позвали — нет, нарядились и стоят. Ну, уж вижу теперь, вижу — красивые. Ну, ладно, мне пахать надо. Я тут рядом буду, буду заходить теперь. — Егор отошел немного от березок, оглянулся и засмеялся: — Ка-кие стоят! — И пошел к трактору.

Шел и еще говорил по своей привычке:

— А то простоишь с вами и ударником труда не станешь. Вот так вот… Вам-то что, вам все равно, а мне надо в ударники выходить. Вот так. — И запел Егор:

Калина красная,
Калина вызрела,
Я узалеточки-и
Характер вызнала-а,
Характер вызнала-а,
Характер ой како-ой…

Так с песней он залез в кабину и двинул всю железную громадину вперед. И продолжал петь, но уже песни не было слышно из-за грохота и лязга.

Вечером ужинали все вместе: старики, Люба и Егор.

В репродукторе пели хорошие песни, слушали эти песни.

Вдруг дверь отворилась, и заявился нежданный гость: высокий молодой парень, тот самый, который заполошничал тогда вечером при облаве.

Егор даже слегка растерялся.

— О-о! — сказал он. — Вот так гость! Садись, Вася!

— Шура, — поправил гость, улыбнувшись.

— Да, Шура! Все забываю. Все путаю с тем Васей, помнишь? Вася-то был большой такой, старшиной-то работал… — Егор тараторил, а сам, похоже, приходил пока в себя — гость был и вправду нежданный. — Мы с Шурой служили вместе, — пояснил он. — У одного генерала. Садись, Шура, ужинать с нами.

— Садитесь, садитесь, — пригласила и старуха. А старик даже и подвинулся на лавке — место дал:

— Давайте.

— Да нет, меня такси ждет. Мне надо сказать

тебе, Георгий, кое-что. Да передать тут…

— Да ты садись поужинай! — упорствовал Егор. — Подождет таксист.

— Да нет… — Шура глянул на часы. — Мне еще на поезд успеть…

Егор полез из-за стола. И все тараторил, не давая времени Шуре как-нибудь нежелательно вылететь с языком. Сам Егор, бунтовавший против слов пустых и ничтожных, умел иногда так много трещать и тараторить, что вконец запутывал других. Бывало это и от растерянности.

— Ну как, знакомых встречаешь кого-нибудь? Эх, золотые были денечки!.. Мне эта служба до сих пор во сне снится. Ну, пойдем — чего там тебе передать надо: в машине, что ли, лежит? Пойдем, примем пакет от генерала. Расписаться ж надо, да? Ты сюда рейсовым? Или на перекладных? Пойдем…

Они вышли.

Старик помолчал… И в его безгрешную крестьянскую голову пришла только такая мысль:

— Это ж сколько они на такси-то прокатывают — от города и обратно? Сколько с километра берут?

— Не знаю, — рассеянно сказала Люба. — Десять копеек.

Она в этом госте почуяла что-то недоброе.

— Десять копеек? Десять копеек — на тридцать шесть верст… Сколько это?

— Ну, тридцать шесть копеек и будет, — сказала старуха.

— Здорово живешь! — воскликнул старик. — Десять верст — это уже руль. А тридцать шесть — это… три шестьдесят, вот сколь. Три шестьдесят да три шестьдесят — семь двадцать. Семь двадцать — только туда-сюда съездить. А я, бывало, за семь двадцать-то месяц работал.

Люба не выдержала, тоже вылезла из-за стола.

— Чего они там? — сказала она и пошла из избы.

…Вышла в сени, а сеничная дверь на улицу — открыта. И она услышала голос Егора и этого Шуры. И замерла.

— Так передай. Понял? — жестко, зло говорил Егор. — Запомни и передай.

— Я передам. Но ты же знаешь его…

— Я знаю. Он меня тоже знает. Деньга он получил?

— Получил.

— Все. Я вам больше не должен. Будете искать, я на вас всю деревню подниму. — Егор коротко посмеялся. — Не советую.

— Горе… Ты не злись только, я сделаю, как мне велено: если, мол, у него денег нет, дай ему. На.

И Шура, наверно, протянул Егору заготовленные деньги. Егор, наверно, взял их и с силой ударил ими по лицу Шуру — раз, и другой, и третий. И говорил негромко, сквозь зубы:

— Сучок… Сопляк… Догадался, сучок!..

Люба грохнула чем-то в сенях. Шагнула на крыльцо.

Шура стоял руки по швам, бледный…

Егор протянул ему деньги, сказал негромко, чуть хриплым голосом:

— На. До свидания, Шура. Передавай привет! Все запомнил, что я сказал?

— Запомнил, — сказал Шура. Посмотрел на Егора последним — злым и обещающим — взглядом. И пошел к машине.

— Ну, вот. — Егор сел на приступку. Проследил, как машина развернулась… Проводил ее глазами и оглянулся на Любу.

Люба стояла над ним.

— Егор… — начала она было.

— Не надо, — сказал Егор. — Это мои старые дела. Долги, так сказать. Больше они сюда не приедут.

— Егор, я боюсь, — призналась Люба.

— Чего? — удивился Егор.

— Я слышала, у вас… когда уходят от них, то…

— Брось! — резко сказал Егор. И еще раз сказал: — Брось. Садись. И никогда больше не говори об этом. Садись… — Егор потянул ее за руку вниз. — Что ты стоишь за спиной, как… Это нехорошо — за спиной стоять, невежливо.

Люба села.

— Ну? — спросил весело Егор. — Что закручинилась, зоренька ясная? Давай-ка споем лучше!

— Господи, до песен мне…

Егор не слушал ее.

— Давай я научу тебя… Хорошая есть одна песня. — И Егор запел:

Калина красная-а-а,

Калина вызрела-а…

— Да я ее знаю! — сказала Люба.

— Ну? Ну-ка, поддержи. Давай:

Калина…

— Егор, — взмолилась Люба, — Христом Богом прошу, скажи, они ничего с тобой не сделают?

Егор стиснул зубы и молчал.

— Не злись, Егорушка. Ну что ты? — И Люба заплакала. — Как же ты меня-то не можешь понять:

ждала я, ждала свое счастье, а возьмут да… Да что уж я — проклятая, что ли? Мне и порадоваться в жизни нельзя?!

Егор обнял Любу и ладошкой вытер ей слезы.

— Веришь ты мне?

— Веришь, веришь… А сам не хочет говорить. Скажи, Егор, я не испугаюсь. Может, мы уедем куда-нибудь…

— О-о!.. — взвыл Егор. — Станешь тут ударником! Нет, я так никогда ударником не стану, честное слово. Люба, я не могу, когда плачут. Не могу! Ну, сжалься ты надо мной, Любушка.

— Ну, ладно, ладно. Все будет хорошо?

— Все будет хорошо, — четко, раздельно сказал Егор. — Клянусь, чем хочешь… всем дорогим. Давай песню. — И он запел первый:

Калина красная-а-а,

Калина вызрела-а…

Люба поддержала, да так тоже хорошо подладилась, так славно. На минуту забылась, успокоилась.

Я у залеточки

Характер вызнала,

Характер вызнала-а,

Характер — ой какой,
Я не уважила,
А он ушел к другой.

Из-за плетня на них насмешливо смотрел Петро.

— Спишите слова, — сказал он.

— Ну, Петро, — обиделась Люба. — Взял спугнул песню.

— Кто это приезжал, Егор?

— Дружок один. Баню будем топить? — спросил Егор.

— А как же? Иди-ка сюда, что скажу…

Егор подошел к плетню. Петро склонился к его уху и что-то тихо заговорил.

— Петро! — сказала Люба. — Я ведь знаю, что ты там, знаю. После бани!

— Я жиклер его прошу посмотреть, — сказал Петро.

— Я только жиклер гляну… — сказал Егор. — Там, наверно, продуть надо.

— Я вам дам жиклер! После бани, сказала, — сурово молвила напоследок Люба. И ушла в дом. Она вроде и успокоилась, но все же тревога вкралась в душу. А тревога та — стойкая, любящие женщины знают это.

Егор полез через плетень к Петру.

— Бренди — это дерьмо, — сказал он. — Я предпочитаю или шампанзе, или «Рэми-Мартин».

— Да ты опробуй!

— А то я не пробовал! Еще меня устраивает, например, виски с содовой…

Так, разговаривая, они направились к бане.

Теперь то самое поле, которое Егор пахал, засевали. Егор же и сеял. То есть он вел трактор, а на сеялке — сзади, где стоят и следят, чтоб зерно равномерно сыпалось, — стояла молодая женщина с лопаточкой.

Подъехал Петро на своем самосвале с нашитыми бортами — привез зерно. Засыпали вместе в сеялку. Малость поговорили с Егором:

— Обедать здесь будешь или домой? — спросил Петро.

— Здесь.

— А то отвезу, мне все равно ехать.

— Да нет, у меня с собой все… А тебе чего ехать?

— Да что-то стрелять начала. Правда, наверное, жиклер.

Они посмеялись, имея в виду тот «жиклер», который они вместе «продували» прошлый раз в бане.

— У меня дома есть один, все берег его.

— Может, посмотреть — чего стреляет-то?

— Ну, время еще терять. Жиклер, точно. Я с ним давно мучаюсь, все жалко было выбрасывать. Но теперь уж сменю.

— Ну гляди. — И Егор полез опять в кабину. Петро поехал развозить зерно к другим сеялкам.

И трактор тоже взревел и двинулся дальше.

…Егор отвлекся от приборов на щите, глянул вперед, а впереди, как раз у того березового колка, что с края пашни, стоит «Волга» и трое каких-то людей. Егор всмотрелся… и узнал людей. Люди эти были — Губошлеп, Бульдя, еще какой-то высокий. А в машине — Люсьен. Люсьен сидела на переднем сиденье, дверца была открыта, и, хоть лица не было видно, Егор узнал ее по юбке и по ногам. Мужчины стояли возле машины и поджидали трактор.

Ничто не изменилось в мире. Горел над пашней ясный день, рощица на краю пашни стояла вся зеленая, умытая вчерашним дождем… Густо пахло землей, так густо, тяжко пахло сырой землей, что голова легонько кружилась. Земля собрала всю свою весеннюю силу, все соки живые — готовилась опять породить жизнь. И далекая синяя полоска леса, и облако, белое, кудрявое, над этой

полоской, и солнце в вышине — все была жизнь, и перла она через край, и не заботилась ни о чем, и никого не страшилась.

Егор чуть-чуть сбавил скорость… Склонился, выбрал гаечный ключ — не такой здоровый, а поаккуратней — и положил в карман брюк. Покосился — не виден он из-под пиджака? Вроде не виден.

Поравнявшись с «Волгой», Егор остановил трактор и заглушил мотор.

— Галя, иди обедать, — сказал помощнице.

— Мы же только засыпались, — не поняла Галя.

— Ничего, иди. Мне надо вот тут с товарищами… из ЦК профсоюза поговорить.

Галя пошла к отдаленно виднеющемуся бригадному домику. На ходу раза три оглянулась на «Волгу», на Егора…

Егор тоже незаметно глянул по полю… Еще два трактора с сеялками ползли по тому краю; ровный гул их как-то не нарушал тишины огромного светлого дня.

Егор пошел к «Волге».

Губошлеп заулыбался, еще когда Егор был далековато от них.

— А грязный-то! — с улыбкой воскликнул Губо-

шлеп. — Люсьен, ты глянь на него!..

Люсьен вылезла из машины. И серьезно смотрела на подходящего Егора, не улыбалась.

Егор тяжело шел по мягкой пашне… Смотрел на гостей… Он тоже не улыбался.

Улыбался один Губошлеп.

— Ну, не узнал бы, ей-Богу! — все потешался он. — Встретил бы где-нибудь — не узнал бы.

— Губа, ты его не тронешь, — сказала вдруг Люсьен чуть хриплым голосом и посмотрела на Губошлепа требовательно, даже зло.

Губошлеп, напротив, весь так и встрепенулся от мстительной какой-то радости.

— Люсьен!.. О чем ты говоришь! Это он бы меня не тронул! Скажи ему, чтобы он меня не тронул. А то как двинет святым кулаком по окаянной шее…

— Ты не тронешь его, тварь! — сорвалась Люсьен. — Ты сам скоро сдохнешь, зачем же…

— Цыть! — сказал Губошлеп. И улыбку его как ветром сдуло. И видно стало — проглянуло в глазах, — что мстительная немощность его взбесилась: этот человек оглох навсегда для всякого справедливого слова. Если ему некого будет кусать, он, как змея, будет кусать свой хвост. — А то я вас рядом положу. И заставлю обниматься

— возьму себе еще одну статью: глумление над трупами. Мне все равно.

— Я прошу тебя, — сказала Люсьен после некоторого молчания, — не тронь его. Нам все равно скоро конец, пусть он живет. Пусть пашет землю — ему нравится.

— Нам — конец, а он будет землю пахать? — Губошлеп показал в улыбке гнилые зубы свои. — Где же справедливость? Что он, мало натворил?

— Он вышел из игры… У него справка.

— Он не вышел. — Губошлеп опять повернулся к Егору. — Он только еще идет.

Егор все шел. Увязал сапогами в мягкой земле и шел.

— У него даже и походка-то какая-то стала!.. — с восхищением сказал Губошлеп. — Трудовая.

— Пролетариат, — промолвил глуповатый Бульдя.

— Крестьянин, какой пролетариат!

— Но крестьяне-то тоже пролетариат!

— Бульдя! Ты имеешь свои четыре класса и две ноздри — читай «Мурзилку» и дыши носом. Здорово, Горе! — громко приветствовал Губошлеп Егора.

— А чего они еще сказали? — допрашивала встревоженная Люба своих стариков.

— Ничего больше… Я им рассказал, как ехать туда…

— К Егору?

— Ну.

— Да мамочка моя родимая! — взревела Люба. И побежала из избы.

В это время в ограду въезжал Петро.

Люба замахала ему — чтоб не въезжал, чтоб остановился.

Петро остановился…

Люба вскочила в кабину… Сказала что-то Петру. Самосвал попятился, развернулся и сразу шибко поехал, прыгая и грохоча на выбоинах дороги.

— Петя, братка милый, скорей, скорей! Господи, как сердце мое чуяло!.. — У Любы из глаз катились слезы, она их не вытирала — не замечала их.

— Успеем, — сказал Петро. — Я же недавно от него…

— Они только что здесь были… спрашивали. А теперь уж там. Скорей, Петя!..

Петро выжимал из своего горбатого богатыря все что мог.

Группа, что стояла возле «Волги», двинулась к березовому колку. Только женщина осталась у машины, даже залезла в машину и захлопнула все дверцы.

Группа немного не дошла до берез — остановилась. О чем-то, видимо, поговорили… И двое из группы отделились и вернулись к машине. А двое — Егор и Губошлеп — зашли в лесок и стали удаляться и скоро скрылись с глаз.

…В это время далеко на дороге показался самосвал Петра. Двое стоявших у «Волги» пригляделись к нему. Поняли, что самосвал гонит сюда, крикнули что-то в сторону леска. Из леска тотчас выбежал один человек, Губошлеп, пряча что-то в карман. Тоже увидел самосвал и побежал к «Волге». «Волга» рванула с места и понеслась, набирая скорость…

Самосвал поравнялся с рощицей.

Люба выпрыгнула из кабины и побежала к березам.

Навстречу ей тихо шел, держась одной рукой за живот, Егор. Шел, хватаясь другой рукой за березки. И на березах оставались ярко-красные пятна.

Петро, увидев раненого Егора, вскочил опять в самосвал, погнал было за «Волгой». Но «Волга» была уже далеко. Петро стал разворачиваться.

Люба подхватила Егора под руки.

— Измажу я тебя, — сказал Егор, страдая от боли.

— Молчи, не говори. — Сильная Люба взяла

его на руки. Егор было запротестовал, но новый приступ боли накатил, Егор закрыл глаза.

Тут подбежал Петро, бережно взял с рук сестры Егора и понес к самосвалу.

— Ничего, ничего, — гудел он негромко. — Ерунда это… Штыком насквозь прокалывали, и то оставались жить. Через неделю будешь прыгать…

Егор слабо качнул головой и вздохнул — боль немного отпустила.

— Там пуля, — сказал он.

Петро глянул на него, на белого, стиснул зубы и ничего не сказал. Прибавил только шагу.

Люба первая вскочила в кабину. Приняла на руки Егора. Устроила на коленях у себя, голову его положила на грудь себе. Петро осторожно поехал.

— Потерпи, Егорушка… милый. Счас доедем до больницы…

— Не плачь, — тихо попросил Егор, не открывая глаз.

— Я не плачу…

— Плачешь… На лицо капает. Не надо.

— Не буду, не буду…

Петро выворачивал руль и так и этак — старался не трясти. Но все равно трясло, и Егор

мучительно морщился и раза два простонал.

— Петя… — сказала Люба.

— Да уж стараюсь. Но и тянуть-то нельзя. Скорей надо.

— Остановите, — попросил Егор.

— Почему, Егор? Скорей надо…

— Нет… все. Снимите.

Петро остановился.

Егора сняли на землю, положили на фуфайку.

— Люба, — позвал Егор, выискивая ее невидящими глазами где-то в небе — он лежал на спине. — Люба…

— Я здесь, Егорушка, здесь, вот она…

— Деньги… — с трудом говорил Егор последнее. — У меня в пиджаке… раздели с мамой… — У Егора из-под прикрытых век по темени сползла слезинка, подрожала, повиснув около уха, и сорвалась, и упала в траву. Егор умер.

И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома… Лежал, приникнув щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одному ему слышное. Так он в детстве прижимался к столбам.

Люба упала ему на грудь и тихо, жутко выла.

Петро стоял над ними, смотрел на них и тоже плакал. Молча.

Потом поднял голову, вытер слезы рукавом фуфайки.

— Да что же, — сказал он на выдохе, в котором почувствовалась вся его устрашающая сила, — так и уйдут, что ли? — Обошел лежащего Егора и сестру и, не оглядываясь, тяжело побежал к самосвалу.

Самосвал взревел и понесся прямо по степи, минуя большак. Петро хорошо знал здесь все дороги, все проселки и теперь только сообразил, что «Волгу» можно перехватить — наперерез. «Волга» будет огибать выступ того леса, который синел отсюда ровной полосой… А в лесу есть зимник, по нему зимой выволакивают на тракторных санях лесины. Теперь, после дождя, захламленный ветками зимник даже надежнее для самосвала, чем большак. Но «Волга», конечно, туда не сунется. Да и откуда им знать, куда ведет тот зимник?

…И Петро перехватил «Волгу».

Самосвал выскочил из леса раньше, чем здесь успела прошмыгнуть бежевая красавица. И сразу обнаружилось безысходное положение: разворачиваться назад поздно — самосвал несся в лоб, разминуться как-нибудь тоже нельзя: узка дорога… Свернуть — с одной стороны лес, с другой целина, напитанная вчерашним дождем, — не

для городской машины. Оставалось попытаться все же по целине с ходу, на скорости, объехать самосвал и выскочить опять на большак. «Волга» свернула с накатанной дороги и сразу завиляла задом, пошла тихо, хоть скреблась и ревела изо всех сил. Тут ее и настиг Петро. Из «Волги» даже не успели выскочить… Труженик-самосвал, как разъяренный бык, ударил ее в бок, опрокинул и стал над ней.

Петро вылез из кабины…

С пашни, от тракторов, к ним бежали люди, которые все видели.